

*ИЕРУСАЛИМСКИЙ
ВЕСТНИК
КУЛЬТУРЫ*

В НОМЕРЕ:

Леонид ГУБАНОВ
ПОЭЗИЯ ПРОКЛЯТОГО МИРА

Джон БЕННЕТ
**ВОСПОМИНАНИЯ
О ГУРДЖИЕВЕ И УСПЕНСКОМ**
(Глава из автобиографии)

Глеб ДЕНИСОВ
МОЛОДАЯ ПОЭЗИЯ

Лоуренс АРАВИЙСКИЙ
ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ПРИНЦИПОВ

Израэль МАЛЕР
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ





ИЕРУСАЛИМСКИЙ ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Леонид Губанов. Стихи из сборников</i>	3
<i>Джон Беннет. Гурджиев и Успенский</i>	11
<i>Анри Волохонский. Зов слова</i>	26
<i>Глеб Денисов. Звезды в земле. Поэма</i>	31
<i>Ц. Ц. Нобелиату</i>	34
<i>Израэль Малер. Веры, надежды, любви. Повесть</i>	35
<i>Азриэль Шонберг. "И, когда наполнился Ад..."</i>	49
<i>Лоуренс Аравийский. Двадцать семь принципов</i>	50
<i>Наум Вайман. Романтическая баллада</i>	55

SLOG
Quarterly in Russian
Jerusalem Herald of Culture

© 1993 by SLOG Quarterly

Cover design by Y. Votolovsky, "Modern Graphica"

Настоящий номер выпущен в свет при содействии
Иерусалимского Культурного Центра репатриантов из СНГ
Иерусалим, ул. Штраус 7

Редколлегия:

Илья Зунделевич, Израэль Малер, Владимир Тарасов

Приложение "Числа"

подготовлено совместно с Анатолием Басиным

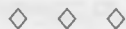
Редколлегия выражает признательность Юрию Вайсу
за помощь в подготовке первого номера журнала

На четвертой странице обложки:
Казимир Малевич "Еврейские буквы", 1913

SLOG, P.O.B. 6608, Jerusalem 91066

Леонид ГУБАНОВ

СТИХИ ИЗ СБОРНИКОВ



Гостеприимный дом

ни дать,

ни взять

и не опохмелиться.

И я забуду, как вас звать,

мои малиновые птицы?

Немного теплого угля,
потом бурлацкого презренья —
и в ляжку... Трелью соловья
тяну баржу стихотворенья.

Я в этой жизни выпил раз
своей сверхмодной черной крови
и губы гробил в пятый класс,
где мел и перхоть

вместо соли.

И, непослушная на вкус,
кружилась жизнь моя в манжетах,
где ставил подписи Иисус
на всех своих любимых жертвах!



Я положу сердце под голову.
На рассвете кувшинки споят об угаре.
Черноглазые тучи шатаются голыми,
женихов между делом, темнея, угадывают.

А мосты от гулянок веселых поскрипывают,
бочки в погребе с белым винищем потрескивают.
Ты стоишь на крыльце голубым постскриптумом,
за тобой на веревочке юбок несколько.

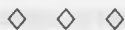
То ли ангел плачет по тонкой тапии
несмышленной девочки, но порочной...
Опьянели вместе мы... и так далее.
На губах был крестик мой... и прочее, и прочее.

Ну а ты с ума сошла, ты с ума сошла,
Ты кричала в крик... и тому подобное.
Ну а после к озеру ты босиком пошла,
как та знаменитая Сикстинская мадонна.

Я увидел, вздрогнул... Что я увидел!
Что же натворил я — экая бестолочь!
Мимо — табуны печальных событий:
до крови избитые все мои невесты.

Ты, смущаясь, плавала — шумная, шалая,
и грозила пальчиком: "Будешь, как шелковый!"
Скоро я покроюсь жуткою славой,
ты волной покроешься, траурным шепотом.

Пусть обнимет меня полотенце худое,
на красивых ногтях я поставлю две даты.
До свидания, сердце мое золотое!
До свидания, ангел мой, вечно крылатый!



Там, где ветер дипломат,
там, где дождик ювелир,
там, где сотни лет подряд
мысли на расстрел вели,

там, где утро льет кумыс,
а служанки льют вино,
где в лакеях пьяный свист
сеет диких драк зерно,

там, где церковь ворожит,
там, где целки гоношат,
там, где нечем дорожить,
кроме ржавого ножа...

Это родина тоски,
плодородной лжи участок,
где горячие виски
в ледяной наган стучатся.

Пусть поймет меня страна
с манифестами резни,
как спивались имена,
бронзой капая с ресниц!



В обратный путь моих молитв
не сохранил я дружбы смеха,
и брови гордые мои
осыпаны золой и снегом.

И на оранжевой груди
опять справляют новоселье
креста, который разбудил
лень анекдота и веселья.

Месть прошлогоднего пера
и лживые слова в гостиных
ты, как детей моих, вела
и, как детей моих, прости мне.

Жаргон отбрасывает тень,
и фаворитки лепят танец,
седые девы деревень,
со мной заигрывал румянец.

И кони белые хрустят,
когда служанки чернолицы,
и девяносто лет спустя
вам обо мне, чернила, литься.

В архиве-погребе найдут
все виноградные стремленья,
и гипсовые пальцы тут
закрошатся от удивленья.

Куда поклонницы мои
напялят розовые платья?
В обратный путь моих молитв,
на дневники в крестах и мате?

Целую ручку у ручья
и волосы у водопада,
когда готовится ничья
греха с заплаканной лампадой.

Прости, пушистая шпана,
измену от ножа к перу.
Прости, шипучая страна,
что я шипучих не беру.

За этот шрам, за этот смех,
за эту дьявольскую маску,
за этот хлам, что храм для всех,
пошли мне смерть и жизнь на Пасху.

Я узаконю черный гроб,
который просто открывался,
где каждый раб и каждый клоп,
увидев мертвого, смеялся.

Ерусалим — слепая речь,
слепая жизнь, слепая вера,
но я оставлю грозный меч
во всех посередине тела.

И тот, кто крови убежит,
мои желания напишет
на ребрах, где шуршат ножи
всех, кто обманут и обижен.

Мой камень не попросит голову,
ухаживаю, как гроза,
и бабы, словно черви, голые
откроют голые глаза.

Прости, задумчивое Слово,
прости, холодная земля,
что молния живет без грома,
как одинокая змея!



Меня подташнивало пить.
Тебя подташнивало — пить.
С улыбкой розовую плеть
пришла за все благодарить.

За почерневшие бока
печали, царственный приезд,
за то, что кровь пришли лакать
все семь подруг и семь невест.

За то, что в шрамах, не дыша,
скорей скрываюсь за пивной.
Волшебнo-шалая душа
боится вас пугать спиной,

исхлестанной и вкривь, и вкось.
И всем моим победам в масть
там, где маячит веры кость,
дай Бог собакам не украсть.

Там, где припухшее ребро
молитвы той, что нарасхват,
губной помадою легло
кольцо со страшным словом — ад.

Я в рубищах великих слов
бегу в потемках наравне
с тем всадником и слышу зов:
"Вернись ко мне!

Вернись ко мне!"

Бич снов моих, я узнаю
его затылком, словно гладь
реки, где голову мою
пошли кувшинки целовать.

Клич снов своих! И на зарю
приказано не бунтовать.
Стою у века на краю —
пора бы перебинтовать.

Но, истекая тут и там,
по вашим дуплам и углам,
я знаю — некого хвалить.
Мне нужно петь, вам нужно — пить!

А черный всадник на коне.
Он держит плетку в пятерне.
Он ничего не говорит,
он зубы скалит на гранит.
И только конь его храпит.
И только Бог меня хранит.

Спасибо, плетка, что была
всегда румяна да бела,

что от угла и до угла
меня гоняла, как пчела.

За то спасибо, что жиреть
мне не дала и в тишине
следила, как бы не привык
я медом мазать свой язык.

Спасибо вам за этот гнет.
Кто не исхлестан был, тот врет.
А я от боли хоть и пил,
но все же душу сохранил.

И золотую россыпь слов
сумел не утопить в вине...
И Сатаны бледнеет зов.
И крылья крепнут на спине.



О, родина, любимых не казни.
Уже давно зловещий список жирен.
Святой водою ты на них плесни,
ведь только для тебя они и жили.

А я за всех удавленничков наших,
за всех любимых, на снегу расстрелянных,
отверженные песни вам выкашливаю
и с музой музицирую раздетой.

Я — колокол озябшего пророчества
и, господа, ответу на прощанье,
что от меня беременна псаломщица
которая антихристом страшает.

В меня же влюблена седая ключница,
любовница тирана и начетчица.
Пока вся эта грязь с улыбкой крутится,
со смехом мой топор старинный точится.

И, тяпнув два стакана жуткой водочки,
увижу я, что продано и куплено.
Ах, не шарфы на этой сытой сволочи,
а знак, что голова была отрублена!



Над питейным домом
дым стоит лопатой.
Пахнет пятым томом
и солдатским матом,

и зимой сосновой
в кабаках хрустальных,
и бессмертным словом:
"Как же мы устали!"

Джон БЕННЕТ

ГУРДЖИЕВ И УСПЕНСКИЙ

Глава из автобиографии "Свидетель"^{1*}

Вторым решающим событием моей жизни, местом действия которого был Куру Чешме², стала моя встреча с Георгием Ивановичем Гурджиевым — одним из самых замечательных людей нашего века. Эта встреча неминуемо должна была случиться на моем жизненном пути, ибо вели меня к ней по крайней мере три нити.

История начинается с Михаила Александровича Львова, в прошлом полковника императорской конной гвардии. Принадлежал он к высшей русской аристократии. Став последователем Толстого, М.А. Львов вышел в отставку и поселился в Ясной Поляне, где жил до самой смерти Толстого в 1910 году. Обучившись сапожному ремеслу, он раздал все свое имущество и кормился тем, что шил сапоги. Следуя учению Толстого, Львов не принял революцию, отчего вынужден был бежать из России. В 1920 году он жил в Константинополе, крайне нуждаясь, под лестницей в клубе Белой Армии "Русский Маяк", неподалеку от Туннеля (станции подземного фуникулера, ходившего между кварталами Пера и Галата). Миссис Бомонт³, познакомившись со Львовым, была поражена его терпением и скромностью; она предложила Михаилу Александровичу переехать в небольшую комнату, которая все равно пустовала в ее квартире. Тот, — признав, что его огорчает невозможность побыть одному, — согласился, при условии, что ему позволят самостоятельно заниматься хозяйством и не станут беспокоить в отведенные для размышлений часы.

Мы были рады оказать ему гостеприимство, хотя сами редко оказывались дома. Миссис Бомонт преподавала в то время английский в турецкой школе для девочек Безм-и-Алем, директором которой была ее близкая подруга Сабина Эсен. Она с любовью относилась к своим ученицам и

© Claymont Communications.

* См. примечания в конце текста.

допоздна задерживалась в школе, занимаясь с отстающими. Я тоже часто оставался на работе до позднего вечера, так что мы бы почти не виделись со Львовым, если бы не его личные качества, произведшие на нас сильное впечатление.

Я ни разу до того не встречал людей, подобных Львову. Его смирение и любовь к бедности были абсолютны. Ни разу он не попросил чего-либо непосредственно для себя; никогда не пытался навязать свое мнение, о чем бы ни шла речь. Если к нему не обращались, Львов мог проводить целые дни в молчании, тачая сапоги для неимущих русских, которым обычно было нечем заплатить за это. Думаю, что ему было тогда около пятидесяти, но добрые, бледно-голубые глаза, отсутствие морщин и поджарая стройная фигура придавали ему вид человека нестареющего. Львов никогда не выглядел подавленным; я ни разу не слышал, чтобы он говорил дурно о ком-то или о чем-то. Нормы внутренней дисциплины, применяемые им к себе, были весьма строги, но это вовсе не означало, будто окружающие должны следовать его примеру.

Однажды Львов, явно чувствуя себя неловко и повторяя извинения, рассказал нам о том, что его другу Петру Демьяновичу Успенскому непременно нужно проводить в квартале Пера еженедельные собрания, — а денег снять для этого комнату нет. Гостиная миссис Бомонт достаточно просторна и подошла бы его другу, поэтому, зная, что комната днем пустует, он решился испросить позволения проводить там собрания. Миссис Бомонт тотчас согласилась, хотя условием Львова было воздерживаться от того, чтобы вслушиваться в разговоры, ибо собрания носят частный характер. Узнав, что лекции будут читаться по-русски, мы уверили Львова, что не пойдем ни единого слова.

Так я познакомился с Петром Успенским, ставшим впоследствии моим учителем, влияние которого было одним из главных факторов, сформировавших мое отношение к жизни. Собрания его проходили днем по средам, но начинались так поздно, что и миссис Бомонт, и я, возвращаясь с работы, обычно заставали их в самом разгаре. Доносящиеся оттуда звуки наводили на мысль о столпотворении. Кричали все сразу, и мы недоумевали, что может привести эту небольшую группу русских в такое возбуждение: ведь Львов дал нам слово, что политические вопросы обсуждаться не будут; и мы знали, что слово его — закон. Успенский нам понравился; мы пытались подружиться с ним, хотя его английский было трудно понять. Он жил тогда на острове Принкипо с женой и семьей дочери и зарабатывал совсем мало, обучая взрослых английскому и давая уроки математики детям.

Однажды я спросил его, о чем говорят на его собраниях. Успенский ответил: "О Трансформации Человека". И добавил: "Вам кажется, что все

люди находятся на одном уровне развития; на самом же деле один человек может отличаться от другого сильнее, чем овца от капусты”.

Затем он взял лист бумаги и нарисовал простую схему:

			Совершенный человек 7
			Сознательный человек 6
			Целостный человек 5
Человек инстинкта 1	Человек чувства 2	Человек мысли 3	Переходный человек 4

Успенский объяснил, что любой встреченный нами человек наверняка относится к одной из трех низших категорий, то есть живет инстинктами, эмоциями или разумом. “Когда человеком овладевает стремление к трансформации, прежде всего необходимо добиться равновесия, гармонии своих инстинктов, эмоций и мыслей. Это — первоначальное условие правильной трансформации. Преобразовавший себя получает в распоряжение силы, непредставимые для обычного человека. Для нас даже стоящий под номером пять — сверхчеловек”.

Этот разговор с фотографической точностью запечатлелся в моем сознании. Я помню и сейчас, что сидел слева от Успенского на диване у окна. Помню, как резко оборвал он свои объяснения, продолжая близоруко глядеть сквозь пенсне. Вся сцена стоит сейчас перед моим взором столь же четко, как и в тот день, но стоит она как бы особняком. Тогда я не почувствовал желания продолжать расспросы и не связал идею “трансформации” с собой.

Обедая у Сабахеддина вечером того же дня, я передал ему слова Успенского. Тот не проявил особого интереса; а мне схема Успенского, признаюсь, показалась надуманной и ненаучной. Я втайне полагал, что мое открытие пятого измерения куда интереснее, но не решался о нем

рассказать, — скорее всего потому, что не мог представить ни одного доказательства, подтверждающего теорию.

То ли оттого, что я не проявил интереса, то ли потому, что ему не хотелось делать следующий ход, но Успенский больше не заговаривал со мной о трансформации человека. Наши отношения были дружескими; я захаживал к нему в гости на Принкипо.

Вторая нить оказалась в моих руках благодаря моей любви к музыке. Мы с несколькими офицерами союзных войск решили устраивать в Пера концерты. Среди беженцев из России было много музыкантов, и два дирижера, Бутников и Томас де Гартман. У обоих были свои поклонники, но так как для двух оркестров места не хватало, мы уговорили их объединиться. Сделать это оказалось нелегко из-за яростного соперничества сторон. Тромбонист одного из оркестров привез с собой из Киева несколько чемоданов с партитурами, за второй группой стоял бывший руководитель московского оркестра. Естественно, был большой простор для интриг.

Из двух дирижеров Томас де Гартман привлек мое внимание. Его жена Ольга, на редкость красивая женщина, была в России оперной певицей. Гартман был близким другом Александра Скрябина, умершего в Сибири во время войны. Он рассказывал мне об убежденности Скрябина в существовании высших способностей в человеке, проявлявшихся вне физического тела, и в том, что с помощью музыки эти способности могут быть пробуждены и развиты. Гартман мечтал исполнить две симфонические поэмы Скрябина и "Прометей". Сам будучи композитором, он, однако, не настаивал на исполнении своих произведений.

Как руководитель оркестра Бутников был динамичнее и, по-видимому, разностороннее; но Гартман был не просто дирижером. Миссис Бомонт и я — мы оба чувствовали, что он имеет доступ к некоему тайному знанию, и предполагали, что это как-то связано со Скрябиным. Нам не приходило в голову, что он знаком с Успенским.

Вскоре части головоломки встали на свои места. Очередная нить протянулась от принца Сабахеддина. Он не любил телефон, считая его роковым орудием вторжения в чужую жизнь. Поэтому я удивился, когда он позвонил мне, чтобы спросить, не буду ли я против приглашения на нашу ближайшую встречу в среду его старого знакомого. Сабахеддин сказал, что не виделся с ним с 1912 года, но считает его необычайно интересным человеком. Он назвал имя, которое мне было трудно разобрать по телефону, и сказал, что тот недавно прибыл в Турцию из района Каспийского моря.

Я не оставил идею караванного путешествия вдоль Аму-Дарьи до Китайского Туркестана и собственно Китая, и не упустил случая познако-

миться с приезжими из Средней Азии. Более того, встречаясь с сартами, узбеками и туркменами, я старался обучиться тюркским наречиям Закаспия и Туркестана. Поэтому я с нетерпением ждал новой встречи, чтобы расспросить о краях, куда так мечтал попасть.

Зная пунктуальность принца, я был в Куру Чешме без нескольких минут восемь, и был проведен прямо в небольшой салон, куда мы обычно удалялись побеседовать после обеда. Тотчас же вошел принц. Он сказал, что гостя зовут Гурджиев и что познакомились они случайно, когда принц возвращался из Европы после революции младотурок в 1908 году.

Он встречался с Гурджиевым всего три-четыре раза, но знал, что тот принадлежал к группе исследователей и оккультистов, вместе с которой совершил множество путешествий. Принц утверждал, будто Гурджиев сумел проникнуть в тайные общества Средней Азии, что удавалось весьма немногим; их беседы неизменно приносили ему пользу. Это все, что я узнал, — принц не мог — или не захотел — рассказать мне больше.

Мы заговорили о моих экспериментах в области гипноза⁴. Принц стал рассказывать об Акаша-хронике, в существовании которой был убежден; о том, что некая тонкая субстанция, "акаша", или эфир, неуточжимая и в то же время чувствительная, пронизывает все сущее. Каждое событие и переживание оставляет следы в этой субстанции. Люди, приведенные в особо чувствительное состояние, способны читать эти следы и, таким образом, вступать в контакт с прошлым. Каждый человек несет в себе подобную хронику, где запечатлены все сведения о прежних его рождениях. Мне трудно было согласиться с этой теорией, — я полагал, что если и на самом деле мы уже когда-то рождались, то наверняка существуют способы узнать это, не прибегая к Акаша-хронике, записи которой могли читать лишь немногие, наделенные особым даром люди.

Время шло, но принц не проявлял нетерпения. Наконец, около половины десятого появился Гурджиев. Без тени смущения приветствовал он принца по-турецки, — с акцентом, представлявшим собой странную смесь литературной речи интеллигента с каким-то простонародным диалектом жителя восточных окраин. Когда нас познакомили, я увидел глаза, подобных которым не встречал никогда. Они были такими разными, что я подумал, уже не освещение ли тому виной. Миссис Бомонт позже призналась, что испытала подобное ощущение, добавив, что дело тут не в каком-либо изъяне или косоглазии — разным было выражение глаз Гурджиева. Он носил длинные черные, свирепо закрученные вверх усы. На нем была папаха, — каракулевая шапка, которую можно было часто встретить в восточных вилайетах, но очень редко в столице. Когда после обеда Гурджиев папаху снял, я увидел, что голова его обрита наголо. Он был небольшого роста, но очень крепкого сложения. Мне показалось,

что ему около пятидесяти, но миссис Бомонт утверждала, что он старше. Впоследствии он говорил мне, что родился в 1866 году, однако сестра его с этим не согласна, утверждая, что год его рождения — 1877. Возраст Гурджиева был загадкой, как, впрочем, и все, что его окружало.

Французским и английским языками Гурджиев не владел, поэтому наша беседа велась на турецком, который миссис Бомонт понимала, но на нем не говорила. В его присутствии я чувствовал себя вполне непринужденно, хотя она потом призналась, что ощущала неловкость; как будто Гурджиев знал о нас некую тайну, которую мы предпочли бы не открывать никому. Ничего подобного я тогда не почувствовал; и лишь гораздо позже понял, что странной особенностью этого человека было перед каждым новым знакомым представлять совершенно по-разному.

Он, как оказалось, прибыл в Константинополь около двух месяцев назад из Тифлиса, столицы Грузии, где основал институт с целью сделать результаты своих исследований всеобщим достоянием, и теперь строил планы переезда в Европу, куда был приглашен Жаком-Далькрозом — основателем эвритмии, у которого тогда был центр в немецком городе Хеллерау.

Явно желая втянуть меня в беседу, Сабахеддин заговорил о нашем увлечении гипнозом и попросил меня рассказать о моих экспериментах. Гурджиев внимательно слушал, и я чувствовал, что он не столько следит за тем, что я говорю, сколько непосредственно участвует в происходящем. Со мной никогда еще не случалось, чтобы меня понимали лучше, чем я сам себя.

Когда я замолчал, Гурджиев принялся подробно объяснять; мы с принцем слушали его с восхищением. Он говорил, как специалист, одинаково осведомленный в теории и практике гипноза. Впоследствии я был потрясен, когда пытаюсь перевести пояснения Гурджиева миссис Бомонт, обнаружил, что забыл почти все, сказанное им тогда. Позднее это случится со мной еще не раз, и пройдет много лет, прежде чем я пойму истинный смысл этой невозможности вспомнить сказанное. В различных состояниях сознания мы видим, слышим и понимаем посредством разных способностей восприятия, активных именно в данном состоянии. При переходе из состояния в состояние память отказывается служить нам, ибо свойство памяти — удерживать внимание на одном узком слое нашего опыта, то есть на одной строке времени.

Гурджиев заговорил об уровнях переживания реальности в гипнозе. Он начал с утверждения реальности определенных субстанций или энергий, существование которых может быть доказано на опыте, но которые пока не обнаружены естественными науками. Есть и другие, еще более тонкие субстанции, находящиеся вне пределов досягаемости любого физиче-

ского эксперимента. Всякое мыслимое действие зависит от этих субстанций. К примеру, для того, чтобы подумать, нам необходимо использовать субстанцию мысли. Любое сверхчувственное восприятие возможно лишь постольку, поскольку в нашем распоряжении имеется соответствующая субстанция.

Существуют способы разделять тонкие субстанции и управлять ими. Один из этих способов и есть то, что мы называем гипнозом. Есть много разновидностей гипноза, различаемых по виду приводимых в действие субстанций. Гурджиев объяснял регрессию памяти свойством определенной, присутствующей в любом живом организме субстанции, которая способна, по его выражению, "к кристаллизации в форме тонкого тела, находящегося в пределах тела физического". На вопрос принца, может ли такое тонкое тело вновь воплотиться на земле в форме человека или животного, Гурджиев ответил отрицательно, сказав, что не может ни принять, ни отвергнуть утверждение принца о возможности опытного подтверждения идеи реинкарнации, добавив при этом: "На Западе реинкарнацию так часто понимали неверно и искаженно, что толковать о ней не имеет смысла".

Он объяснил результаты моих экспериментов по экстериоризации чувствительности и разную реакцию загипнотизированного субъекта на различные металлы. Каждому металлу соответствует определенная тонкая субстанция. Те же субстанции присутствуют и в человеке, находясь, однако, на более низком уровне по сравнению с собственно субстанцией человека. Каждая из них обладает определенным психическим (psychic) свойством. По мере того, как субъект погружается в состояние глубокого гипнотического транса, субстанции начинают разделяться — подобно смеси железных и бронзовых опилок под действием магнита. В таком состоянии субъект становится чувствительным к действию тех субстанций, которые обычно не вызывают в нем реакции. Используя этот феномен, можно с помощью различных металлов вызвать различные психические реакции — гнев, страх, любовь, нежность и так далее.

Тут я потерял нить объяснения и отключился от происходящего. Было ясно, что человек этот обладает специальными знаниями, с которыми мне до сих пор не приходилось сталкиваться. Я был убежден в том, что он излагает факты, проверенные на личном опыте, а не фантазии, которые авторы книг по оккультизму заимствуют, по-видимому, друг у друга. Я затруднился бы объяснить, чем же Гурджиев отличался от, скажем, принца или от дервишей, с которыми я беседовал. Я чрезвычайно остро ощущал собственную недостаточность; я был убежден, что он сможет ответить на мои вопросы, но какие вопросы задавать — я не знал.

Мне хотелось рассказать о том, что происходило со мной во время

ранения⁵, но я не смог заставить себя заговорить об этом. Я опасался произвести впечатление человека, выделяющего себя из толпы других людей; мне очень не хотелось быть препарированным, вроде того, как препарированными оказались мои эксперименты с гипнозом. Вместо этого я рассказал о своем открытии пятого измерения и об уверенности в том, что это измерение есть область свободы воли. Гурджиев снова серьезно выслушал меня и рассмотрел мой чертеж с обозначенными "верхним" и "нижним" уровнями вне нашего пространства и времени. Затем он сказал: "Ваша догадка верна. Существуют высшие измерения, или высшие миры, в которых свободно проявляются высшие способности человека. Но что за польза в теоретическом изучении таких миров? Положим, вам удастся представить математическое доказательство существования пятого измерения, — вам-то что от этого, пока вы остаетесь вот здесь? — и он показал на чертеже сферу, изображавшую пространство и время. — Если вы останетесь здесь, вам придется спуститься вниз. Если желание ваше — подняться в мир свободы, то сделать это необходимо в этой жизни. Потом будет поздно".

Он напомнил мне о том, что было ранее сказано о кристаллизации тонкого тела и добавил: "Даже этого недостаточно, потому что такое тело также подвержено материальным законам. Чтобы освободиться от власти законов пространства и времени, вы должны измениться сами. Это изменение зависит от вас, и исследования не приблизят вас к нему. Вы можете знать все, но оставаться на том же месте, подобно человеку, знающему все о банковской системе и о деньгах, у которого, однако, своих денег в банке нет. Что за польза ему от всех его знаний?"

Тут Гурджиев внезапно изменил интонацию и, пристально глядя на меня, сказал: "У вас есть возможность измениться; но предупреждаю: это будет нелегко. В вас все еще сидит убеждение, что вы вольны поступать согласно своим желаниям. Несмотря на все ваши исследования о свободе воли и детерминизме, вы все еще не понимаете, что, пока вы остаетесь здесь, вы ровно ничего не можете. В пределах этой сферы свободы нет. Ни знания, ни вся ваша деятельность не дадут вам свободы. Все это оттого, что в вас нет..." Гурджиев не нашел нужного турецкого слова. Он употребил слово "варлык", что приблизительно означает качество присутствия. Я подумал, что он имеет в виду опыт выхода за пределы собственного тела.

Ни я, ни принц не сумели понять, что желал сказать Гурджиев. Я опечалился, ибо то, как он произнес эти слова, не оставляло сомнения в их особой важности для меня. Я ответил довольно слабой отговоркой: мне известно, что одного знания недостаточно, но что же остается делать, если не продолжать учиться? Гурджиев не дал мне прямого ответа и,

не давая почувствовать, что меня игнорирует, стал рассказывать принцу о храмовых танцах и их значении для изучения древней мудрости. Он пригласил нас троих посмотреть демонстрацию храмовых танцев в исполнении группы учеников, прибывших вместе с ним из Тифлиса.

Мы отвезли Гурджиева на Гран Рю де Пера, где, по его словам, у него была назначена на полночь встреча (что прозвучало странно). Он повторил свое приглашение в Йеменджи Сокак на следующую субботу.

Принц пойти не захотел. Собственно, он никогда не выходил из дому по вечерам. Мы с миссис Бомонт прибыли в Йеменджи Сокак, как было условлено, к девяти часам. Когда мы вошли в длинную комнату, там оказался всего один человек; одетый в белый костюм и подпоясанный желтым кушаком, он стоял в углу лицом к стене и медленно наклонял и поднимал голову. В комнату стали заходить мужчины и женщины, одетые в белое. На всех были застегнутые наглухо блузы; мужчины были в широких штанах; женщины — в белых юбках поверх шаровар. Они не говорили между собой и, казалось, не замечали друг друга. Некоторые сели на пол по-турецки, другие стали упражняться в различных позициях и ритмах.

В другом конце комнаты были расставлены стулья; два-три зрителя вошли и сели. Мы были невероятно поражены, увидев входящего Успенского, который шел, не глядя по сторонам, и казалось, нас не замечал. Вскоре появился Томас де Гартман и сел за рояль. Я и не подозревал, что они оба связаны с Гурджиевым.

Наконец вошел и сам Гурджиев, одетый в черное. Тотчас же все исполнители выстроились в шесть рядов. Они были подпоясаны кушаками разных цветов, и я ожидал увидеть их расположившимися в порядке цветов радуги; однако красный оказался почему-то не на своем месте.

Гартман стал играть. Первый танец сопровождала медленная величавая тема, походящая скорее на греческий гимн, а не на восточный храмовый танец. Сам танец был очень прост и напоминал шведскую гимнастику. Каждый танец длился одну-две минуты. Темп движений непрерывно нарастал. Стройные ряды наконец распались, и исполнители, разойдясь по сторонам, остановились, образовав некий сложный узор. Перед началом следующего танца один из участников объявил по-английски: "Следующее упражнение изображает обряд посвящения в жрицы; его происхождение — пещерный храм в Гиндукуше". Этот танец был самым волнующим и ярким событием вечера. Длился он гораздо дольше остальных. Роль жрицы, почти не двигавшейся с места, исполняла высокая и очень красивая женщина. Выражение ее лица передавало полную изолированность от внешнего мира. Казалось, она не замечала сложные сплетения движений окружавших ее мужчин и женщин. Я никогда еще не видал

столь прекрасного танца, никогда не слышал такой странно волнующей музыки.

За "Посвящением в жрицы" последовало несколько упражнений для мужчин, после чего все встали у дальней стены. Гартман взял несколько аккордов. Гурджиев громко скомандовал по-русски, и все танцоры, ринувшись с места, помчались с места, помчались прямо на зрителей. Вдруг Гурджиев закричал: "Стоп!" — и все застыли. Большинство, движимые инерцией, попадали на пол и, перекатившись несколько раз, оцепенели, словно в каталептическом трансе. Довольно долго стояла тишина. Гурджиев еще раз скомандовал, все молча поднялись и, как вначале, выстроились в ряды. Это упражнение было проделано еще два или три раза, но впечатление было уже не то.

Хладнокровно описанная, эта необычная атака может показаться занижением тона вечера, однако она странным образом подходила ко всему остальному. Еще она напомнила мне остановку в ритуале "Мукабеле" дервишей ордена Мевлеви. Я хотел было спросить Гурджиева, означает ли эта остановка и в его упражнении момент смерти, но он быстро вышел. Танцоры разошлись; Гартман подошел и очень дружески поздоровался с нами. Мы оглянулись в поисках Успенского, но тот уже исчез.

Несмотря на острый интерес, который вызвала в нас личность Гурджиева, наши с ним беседы, то, что делали его ученики, — ни миссис Бомонт, ни я не испытывали потребности узнать о нем побольше. Мы ощущали, будто встретились с замкнутым кружком — чуть ли не с тайным обществом, члены которого предпочитали хранить молчание, и которых не интересовали люди посторонние. Это впечатление, по-видимому, сложилось у нас главным образом от общения с Успенским. Нам и в голову не приходило, что мы когда-нибудь окажемся в гурджиевском кругу. Прежде всего казалось, что дисциплина, требуемая для развития столь поразившей нас выносливости и умения управлять собой, доступна лишь тем, кто может посвятить этому всю свою жизнь.

Я не припомню точных дат, но Гурджиев пробыл в Турции, кажется, почти год, отправившись в Германию осенью 1921 года. Мы встречались иногда, главным образом по делам, связанным с получением виз в Европу для его учеников и его самого. В ту пору русским переезжать из страны в страну было чрезвычайно сложно. Я пытался помочь, как мог, но русскими беженцами занимался отдел союзной администрации, с которым у меня почти не было контактов.

Однажды в 1921 году к нам в гости зашел Успенский и принес три экземпляра своей книги "Третий Органон" в английском переводе, только что полученные из Нью-Йорка от Клода Брэгдона. Прибыл и чек в счет гонорара, который, по его словам, поможет осуществить план переезда

в Англию. Он усердно занимался английским и говорил на нем куда лучше, чем в начале нашего знакомства. Успенский рассказал о своих английских друзьях из Теософского общества; я посоветовал ему написать им и попросить прислать официальное приглашение. Он любезно подарил мне экземпляр "Третьего Органона", который я тут же прочел с восторженным интересом. Эта книга открыла мне глаза на вероятность того, что человечество вскоре ожидают большие перемены, которые позволят вновь активно проявиться дремлющим в человеке силам и возможностям, давно погребенным под грузом логического мышления. Я едва прочел книгу, как Успенский пришел ко мне, на сей раз с телеграммой из Нью-Йорка от леди Ротермир: "Под сильным впечатлением от вашей книги "Третий Органон" хочу встретиться Нью-Йорке или Лондоне все расходы беру на себя".

Успенский спросил, знаю ли я что-нибудь о леди Ротермир. Я ответил, что ее муж, по общему мнению, имеет большое влияние на премьер-министра, г. Ллойд-Джорджа; но знать наверняка, в силах ли она устроить визы и разрешения, невозможно. Зачастую это не удавалось даже самым влиятельным лицам. Успенский явно хотел выехать в Лондон как можно скорее. Он принял приглашение леди Ротермир, объяснив при этом свои затруднения в получении визы. Прошло несколько недель; наконец, прибыл денежный перевод; а виз все не было. Я по опыту знал, что попытки устраивать что-либо "сверху", обычно связаны с задержками, и отправился в русский отдел хлопотать. Там не возражали, и вскоре, получив визы, Успенский с семьей уехал в Лондон.

Немного погодя Гурджиев и его антураж, включая чету Гартманов, отправились в Германию. Я не предполагал, какую роль в моей жизни сыграют эти встречи с Гурджиевым, Успенским и Гартманом. Жизнь моя тогда была столь захватывающе интересной, что в ней не могло остаться места той строгой дисциплине, которую, по-видимому, потребовал бы от меня Гурджиев.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Witness. The autobiography of John G. Bennet. Перевод М. Сарни.

² Дворец принца Сабахеддина, племянника султана, которого тогда называли надеждой турецкого либерализма. Сабахеддин сыграл важную роль в жизни Беннета, раскрыв перед ним возможности духовного поиска.

³ Винифред Бомонт (1875 — 1958), ставшая в 1925 году женой Беннета.

- ⁴ Одним из которых была так называемая "регрессия памяти", когда загипнотизированный начинал как бы жить в определенном моменте своего прошлого.
- ⁵ В 1918 году Беннет был ранен и шесть дней находился в коматозном состоянии, однако сознание его четко воспринимало происходящее вокруг него в полевом лазарете.

ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

Ежегодно в парижском Свято-Александро-Невском соборе множество людей присутствуют на панихиде по Георгию Ивановичу Гурджиеву — "учителю четвертого пути". Между тем его труды, написанные по-русски и по-армянски, никогда не были изданы на языке оригинала, да и литературы на русском языке о нем практически не существует. [Статья была написана шесть лет назад. *Редакция.*] Для сравнения укажем, что лишь по-английски о Гурджиеве и о его учении вышло более сотни книг.

Дата рождения Г.И. Гурджиева, означенная в его паспорте (13 января 1877 года, город Александрополь Эриванской губернии), возможно, не вполне точна; сам Гурджиев разным собеседникам сообщал различные даты, говоря, что появился на свет "ровно в полночь под Новый год по старому стилю".

Не знаем мы и много другого об этом необычайном и в высшей степени загадочном человеке. В предисловии к книге Рене Зюбера "Кто Вы, мсье Гурджиев?" П.Л.Траверс высказалась по этому поводу так: "Опишите его жизненный путь — и, несмотря на числа, места и имена, вместо биографии у вас неизбежно выйдет сага". Поэтому, отмечая в этом году как бы условно столетие со дня рождения "учителя храмовых танцев" (так рекомендовал себя Георгий Иванович), мы должны помнить, что вероятность, этак, примерно, десятилетней ошибки в наших подсчетах достаточно высока; такого рода неопределенность, разумеется, пришлась бы по вкусу самому Гурджиеву.

В ранней юности, повинуясь некоему мощному импульсу, ставшему впоследствии, по его собственным словам "идеей-фикс внутреннего мира" — "В чем смысл и назначение жизни на Земле вообще, и человеческой жизни в частности?" — Гурджиев отправляется на поиски сокровенного знания; он пытается обнаружить его в монастырях Армении, горы Афон, в Египте, Месопотамии, Иерусалиме, на острове Крит. Гурджиев знакомится с группой людей, называющих себя "Искателями Истины". С ними он принимает участие в экспедициях по Средней Азии, Сибири, пустыне Гоби, Персии. Подолгу живет в монастырях Тибета и Афганистана. Впоследствии проводит два года в общине дервишей в Средней Азии, изучая законы гипнотического внушения и механизмы сознания. Наконец, Гурджиеву удается проникнуть в главную оби-

тель братства Сармун — общину посвященных, о которой ему было известно уже довольно давно.

В 1907 году Гурджиев поселяется в Ташкенте и, объявив о себе как о целителе всевозможных пороков и "профессоре-инструкторе наук о сверхъестественном", собирает вокруг себя группу людей "с целью изучения их сознательных и бессознательных проявлений", занимаясь, заодно, их лечением. Добавим, что в 1904 году Гурджиев дал себе клятву никогда не пользоваться полученными знаниями для собственного блага. Он на опыте проверяет методы работы, цель которой — "помочь людям добиться внутренней свободы". Гурджиев читает лекции, на которых демонстрирует "окультиные феномены", привлекая к себе общее внимание. В то время — как и впоследствии — процесс отбора учеников заключался в привлечении большого количества людей с последующим отбором тех, с кем Гурджиев желал продолжить работу.

В 1912 году Гурджиев переносит свою деятельность в Москву, а в 1915-м организует группу в Петербурге. Тогда же к ней присоединяется П. Д. Успенский — известный журналист, впоследствии изложивший в книге "Фрагменты неизвестного учения" (в иностранных переводах — "В поисках чудесного") тогдашние идеи Гурджиева.

Летом 1917 года работа групп была перенесена на Кавказ — в Ессентуки, затем в Тифлис. В Тифлисе Гурджиев объявил о создании "Института гармонического развития человека", основная задача которого — "создать условия для постоянного напоминания каждому из участников о цели и смысле его существования посредством неизбежных конфликтов между совестью человека и автоматизмом проявлений его природы".

В 1920 — 21 годах Гурджиев продолжает работу в Константинополе, а с 1922 года — в Фонтенбло под Парижем. Подолгу бывает в США, где с 1923 года в Нью-Йорке в его отсутствие занятия проводит А. Р. Орэддж.

В свою очередь П. Д. Успенский, поселившись в 1921 году в Лондоне, начинает самостоятельно преподавать "систему" Гурджиева.

С 1935 года Гурджиев постоянно живет в Париже. Во время Второй мировой войны он занимается с французскими группами, — вплоть до 1945 года, когда из Америки и Великобритании возвращаются к нему ученики.

После кончины П. Д. Успенского в 1947 году большинство его последователей присоединяется к Гурджиеву.

Георгий Иванович Гурджиев умер 29 октября 1949 года.

Попытка связно изложить "систему" Гурджиева в нескольких абзацах, кажется, вполне абсурдна (Морису Николу, к примеру, понадобилось для этого пять толстых томов "Психологических комментариев"). Последующие строки есть предельно краткое изложение идей Гурджиева, как они представляются переводчику.

Все в мире материально. Любое вещество можно представить как колеба-

ние определенной частоты: чем тоньше материя, тем выше частота. Законы, действующие в любой частице Вселенной (включая человека), те же, что действуют во всей Вселенной. Главных законов два: закон трех и закон семи. Закон трех говорит о необходимом присутствии трех сил — положительной, отрицательной и примиряющей — для того, чтобы произошло любое событие. Закон семи утверждает, что ничто на свете не остается в состоянии покоя, все изменяется, либо развиваясь (частота колебаний растет), либо деградируя (частота падает). Этот процесс эволюции/инволюции подобен музыкальной октаве; интервалы между соседними нотами неодинаковы: есть два промежутка — между ми и фа, и между си и до, когда процесс роста замедляется. В этот момент изменяется (может быть совсем ненамного, но это дела не меняет) направление движения. Если на протяжении нескольких циклов это изменение имеет тот же знак, то процесс, начавшись как эволюционный, может повернуть вспять (сохраняя при этом первоначальное название — см. историю религий и революций). Для поддержания направления процесса во время прохождения критических интервалов необходима поддержка извне, со стороны процесса, находящегося на иной ступени развития (в случае эволюции помощь приходит со стороны более высококачественной октавы).

Непрерывный процес трансформации энергий, происходящий в мире, осуществляется посредством "взаимного кормления": низшие сущности идут в пищу высшим, а продукты жизнедеятельности высших питают низшие. В круговороте этом участвует и человек.

В человеке можно выделить три центра: центр движений и инстинктов, эмоциональный и интеллектуальный (позвоночные обладают двумя, а беспозвоночные — одним центром). Творец Всего Сущего возложил на существо с тремя центрами большие надежды: они — потенциальные Его помощники в управлении Вселенной. Цель воспитания такого существа — развитие четвертого центра, истинного "Я", управляющего автоматическими проявлениями трех низших центров. Определенные исторические причины много тысячелетий назад сбили человека с этого естественного пути, так что сейчас он не свободней автомата; живет, механически реагируя на внешние воздействия; умирая, распадается на простые энергии, "идущие в пищу Луне". Неделимое "Я", не подверженное распаду, продолжающее эволюционировать и после смерти тела, радуя этим Нашего Творца, может быть создано только путем сознательной личной работы, необходимость которой осознают немногие, а отказываются — еще меньше. В любой религиозной традиции существуют способы продвижения к этой цели: "факир" достигает полного контроля над телом, вырабатывая при этом несгибаемую волю; "монах", подчиняя все свои эмоции одной — мистическому порыву — добивается внутренней целостности; "йог", стремясь осмыслить законы бытия, начинает понимать себя и окружающий мир. Есть и четвертый путь, путь гармоничного развития всех трех центров. Он не связан с какой-либо определенной религиозной

традицией; методы его сохраняются в общинах посвященных; учителя его появляются в мире, когда есть в этом нужда; исчезают, когда нужда проходит. Таким учителем был Георгий Иванович Гурджиев.

* * *

Джон Г. Беннет (1897 — 1974) участвовал в Первой мировой войне в качестве офицера саперной роты. В 1918 году был тяжело ранен; поправившись, поступил на курсы турецкого языка при военном министерстве; окончив их с отличием, был назначен резидентом английской военной разведки в Константинополь. Он был участником лондонской группы Успенского, работал в институте Гурджиева в Фонтенбло в 1923 году. Во время Второй мировой войны стал заниматься с группой учеников; после смерти Успенского вернулся к Гурджиеву в Париж.

Более 50 лет посвятил он реализации идей Гурджиева, занимаясь с учениками в Англии и Америке до самой смерти.

Последний раз беседуя с Беннетом, Гурджиев вспомнил о Ташкенте, где началась его работа. "Запомни то, что я сейчас скажу, — сказал он. — Началось в России — закончится в России".

Переводчик выражает глубокую признательность миссис Элизабет Беннет за любезное разрешение публикации и поддержку.

М. Сарни

Анри ВОЛОХОНСКИЙ

ЗОВ СЛОВА

Из "Повести о Великой Любви Ланы и Тарбагатая"

Если когда-либо удастся свести все роды письменной словесности к единому первообразу, таковым несомненно окажется донос. Речь идет не о развлекающей обывателя болтовне, а о серьезном чтении, о нынешней нашей прозе. Поэтам тоже, бывает, случается поделиться особым знанием, но то — вспышками, по увлечению. Ведь поэзия — род легкий, старинный, незрелый, а хороший донос должен быть существенным, глубоким и весомым. Там вся скрытая истина жизни должна быть высказана как есть, и еще очень важно, чтобы сочинитель не ограничил себя внешней стороной вещей, но углубился в ее невидимое строение. Нужно сообщать не только о действительных поступках, но и о внутренних толчках, которые объяснят, как и откуда душевные только, вначале, движения претворятся однажды в живые виды. Внешние обстоятельства ведь нечасто выходят из ряда вон, но именно скрытые душевные вихри составляют тот мутный воздух, в котором зарождаются разные редкостные исключения. Их-то и следует обнажать, срывая пустую туманную оболочку. Заурядное бытие, жизнь даже вовсе без событий станет тогда чудовищно любопытной. Основное требование здесь — искренность. Сообщения, сделанные натянутым, неестественным голосом, никогда не заставят себе верить. Описываемые лица должны думать, говорить, поступать так, чтобы при чтении не исчезало убеждение, что вот именно так оно все и происходит. Частные подробности также очень важны, но лучше, если их достоверность — душевной природы, а не следует за тупыми видимостями. Искреннему тону должен отвечать пафос пользы и широкой правды.

Начинающие часто выбирают не самый верный путь: берутся описывать жизнь с неизвестной прежде точки. Выходит: "город глазами собаки", "лошадь ногами телеги" и т.п. Глаза и ноги, однако, подводят. Не зрение и не грациозная походка нужны истинному писателю, но совершенный

слух. Понятно — не слух музыканта, различающий звучные ноты, нет, слух писателя должен быть гораздо более изощренным, а главное — направленным к восприятию такого нестойкого пения, какое никогда не разберет наилучший умелец-скрипач. Трепет души — вот что обязан уловить наш вооруженный тростью развинченный флейтист. Штучки с глазами — ребячество. Все равно ведь ясно, что писала-то не собака и не телега.

Бывает — и это, разумеется, шаг к творческой зрелости — изображают нечто "глазами очевидца". Но тут есть некая искусственная неполнота: чтобы найти движущую силу, очевидец сам вынужден встать в положение вроде собачьего — иначе что, собственно, нового мы от него услышим? А самобытная свежесть просто необходима. Обыденные известия те, кому надо, сами сочинят и без помощи пишущей братии. Вместо плоского и простенького лепета "я видел" в подлинном творении должно трубно греметь убежденное: "Я знаю!" Пусть истина проистекает из недр сочиняющего "Я" естественно, как река, и исповедь есть наиболее подходящий сосуд для подобного излияния.

"Доносчику — первый кнут", — заповедали нам народные нравы. В словесническом повороте это нужно понять как настоятельный и требовательный совет прежде обнажить собственную душу и вынести на свет Божий все, что в ней затаилось, и лишь потом тянуть руки к одеждам друзей и родных или метлу с дегтем к воротам соседей. Эра маньеризма, который когда-то сковывал писателя не имеющими отношения к делу понятиями, вроде стыдливости и чести, давно отошла. Ее могильщики научили нас говорить обо всем откровенно и прямо. Зато мы теперь знаем такое, о чем и не помышляли наши надутые прадеды. Но дело сочинителя оттого не стало легче, напротив, — намного труднее. Каждый из нас обязан превзойти предшественника полностью наготы и пронзительной правдой всего своего голого естества. Это с самого начала исключает подражание или ученичество. Мы обязаны донести до читающего внутренний строй нашей души во всем его неизрекаемом своеобразии. Это требует напряженнейшего самоуглубления — тем полнее будет последующее саморазоблачение, а раз обнажившись, еще как смелее будем мы раздевать все вокруг, ибо на нашей стороне теперь естественное право раскаявшегося по отношению к тем, кто, затаив все пороки внутри, не дерзает их честно явить свету. Такая опора неуязвима. Кто станет защищать приятную ложь против натиска горькой правды? Кто не усовестится предпочесть искусную безделку слову сокрушительной истины, которое заденет самые устои всеобщего? Жрец и жертва в одном лице, исповедник-сочинитель — всегда на все готовый победитель.

Подобные размышления водили мною, когда я брался за это дело. Цель моя не была вначале отлична от тех, какие ставят другие. Я хотел

раскрыться, рассказать все и примером увлечь пишущий народ в новый смерч головокружительного самоочищения. Но стоило мне заглянуть к себе в нутро, как я там ничего не обнаружил. Рассматривая, я видел, разумеется, кое-что, но это было уже известно, выложено кем-то другим, не мною. А личного, особенного, моего собственного — чтобы оповестить мир — такого не находилось. "Неужели моя душа состоит из всем известных мыслей?" — подумал я, и это повергло меня в глубокую ипохондрию.

Ради облегчения я попробовал описать ее в незамысловатых стихах:

Тот весел, чья мысль и светла и мудра,
Меня ж ипохондрия, злая хандра,
Сильней кузнеца, холодней коновала
К устоям души естеством приковала.

Перечитал и воскликнул: "Силы Небесные! Тоска-то какая! Где они — устои души!"

Пораскинув, однако, умом, я понял, в чем кроется суть нехватки. Мне следовало прежде получить самое душу в чистом виде, а уж потом пытаться описывать ее тонкие ущербы. И вот тут-то темная неясность встала передо мною во весь свой огромный рост.

У нее была еще одна сторона, чисто внешняя. Вряд ли мимо читателя прошло маленькое сообщение о космонавте Сытине, напечатанное в одном свободном журнале. На всякий случай я его здесь все же приведу, насколько возможно сократив за счет извилин говоренья и частностей, которые легко домыслить.

Отчего оглох космонавт Сытин

Он вернулся в таком виде с Деревянной Планеты. Она не всегда была деревянная. Раньше она была из ваты. Но после этой революции все сразу бросились хватать стукачей, те побежали к ракетам, пустили их в ход и улетели с перепугу в космос. Летели сперва куда глаза глядят, потом стало их затягивать. Думали — черная дыра, смотрят — нет, впереди что-то белеет. "Снег, снег", — кричат. А топливо кончилось. Падают один за другим в этот снег. Оказывается — вата. Целая планета — сплошной ком ваты. Стукачи тут же принялись за дело: стучать по вате. Десять лет стучали. Планета уменьшилась раз в сто, плотная сделалась. Те все стучат. Грохот жуткий, уже не вата — дерево, и не трухлявая какая-нибудь ольха, а мореный дуб. А жрать нечего, кругом одна вата, опилки, щепки и бесплодная деревянная почва. Нашелся, правда, среди них биохимик, вывел фермент, чтобы переваривать кору как в термитнике. Стало по-

легче: гадят дегтем, мочатся метиловым спиртом и — стучат. Еще через сколько-то лет залетел к ним случайно космонавт Сытин. Рассказывает — слушать страшно. У них все слова — на "стук". Древнейший способ передачи информации: "точка-тире". Не планета, а какой-то там-там.

Они его спрашивают:

— Стукотовы ли вы стукти на уступки?

А повыше лозунг висит: "Гнить или стучать?"

Столица, кстати, называется Стуква — тоска по родине.

Сытин им в ответ:

— А чего это вы стучите, а не булькаете?

— Где булькать, воды-то нет... — а потом разлились:

— Ты, — орут, — гнилой стуктелестукал, подозрительный убиквист!

— Ну, — думает Сытин, — проститься с теплою постелью, пойти сразиться с инфиделью, — тут дело такое, что только ноги, — и обратно, в космос.

А любви между ними никакой нет, только пилят друг друга и трахаются. Вернулся глухой как пень.

* * *

Не стоит объяснять, это злая насмешка. Под "Деревянной Планетой" разумеется все та же наша словесность, и что такое "вата" знают все, кто имел с ней дело. Злобная, некрасивая выходка, но огорчила меня не она, а ее полная правота. Наблюдаем, действительно, некое однообразие, наилучшие намерения при полной неспособности их осуществить. Неужели мои собратья тоже не нашли в себе ничего нового? Если так — что если я сообщу им о собственных разысканиях, а разоблаченья на время отложу? Да и, в сущности, как можно писать о душе, когда в наше время никто не знает даже, откуда она взялась? Но — о, если бы я узнал об этом!

Теперь мое предприятие стало напоминать воскрешение Лазаря. Я должен поймать душу, блуждающую около своих первых истоков, и вдунуть ее назад, в тронутое тлением тело словесности.

Тут-то я, наконец, приступил и вышел на поиски — в книгах, в обозримом мироздании, путем расспросов ближайших знакомых.

Книги мне мало помогли. О душе сейчас никто и не помышляет: века холодных умствований сделали свое. Между тем для наших предков бытие души было вполне отчетливо, ибо обосновывалось на различии между живым телом и трупом. Они, конечно, путались в заблуждениях о ее последующих судьбах, но тут совсем другой вопрос, хотя больше высказывались как раз об этом: бессмертна ли, что ждет ее за гробом, вернется

ли назад в иное тело, останется ли вся такой как есть или волеет себя в небытие и т.п. Меня это не просветило. Я стал постигать, что все здесь — надежды душ довольно зрелых, и опасно из них заключать о происхождении: уж слишком явственна печать посюсторонних выгод. Определения души тоже были туманные, места пребывания указаны на основе зыбких догадок. Душа-де живет в крови, в груди, в голове, в животе. Существуют растительные и животные души, сознательные, чувствительные, разумные. А с другой стороны — души песков, камней, глин и вод — словом, какой-то хаос. Сколько-нибудь внятные утверждения попались мне только в двух местах. В энциклопедии против слова "душа" значилось: "единица обложенья, учрежденная Петром Великим". Иную версию я смог извлечь из "Текстов Кипарисовой Трухи", выпавших из брюха краденного медного будды, в той их части, которая называется "Некоторые мысли господина Ту", но об этом — потом.

Я обращался с тем же вопросом и к живым людям.

— А, происхождение душ... Это вопрос для священника, — сказал мой друг Авель.

Отец Б. в изумлении оторвал руки от руля (мы поднимались в гору в его автомобиле; смеркалось) и воздел их к небу:

— Я тридцать лет в сане, и вы первый, кто спрашивает меня об этом. Сказать по правде, я думаю, их создает Бог.

Последние слова он произнес на трех языках сразу.

— Вот, — подумал я, — энциклопедия валит на царя, а монах — на Бога...

Отец В. пересказал мне книгу доктора Моуди о переживаниях после смерти, когда ее установят врачи, порассуждал немного, а под конец откровенно признался, что ничего не слышал о происхождении душ и никакого мнения по этому поводу не имеет.

Мои собственные размышления оказались донельзя просты. Я решил сначала узнать: кого больше — живых или мертвых.

Люди, если их не пугать, размножаются согласно простой пропорции — такой, что в трех поколениях число внуков равно числу отцов и дедов, вместе взятых. Значит, число всех мертвых предков равно количеству детей в живом поколении, то есть живых всегда — и намного — больше: ведь есть еще внуки и отцы. Из чего вытекает, что, по крайней мере, часть душ должна возникать заново. И тут для меня мгновенно проявилась живая связь между происхождением душ и образованием тел. Все уперлось в любовь, в наготу, в ее генеалогию, биологию и физиологию, в демографию рождений, смертей и браков, а в конечном счете — в самое хромосому, тонкое цветное тело, которое является как бы невидимой душой нашего видимого тела — плотного, бесцветного, темного.

Глеб ДЕНИСОВ

ЗВЕЗДЫ В ЗЕМЛЕ

Поэма

1. ПРОЛОГ — ОБРУССА

Эй, — как в детский восторг провести реку Сить,
И щемящий Точильщика скрип воскресить,

Как в пустынные легкие набранный сноп
По лучу — получить б, и тот мятный озноб

От нездешнего утра — вздох — милостыни —
С головой зарываясь в пробел простыни?..

— Может, легких простуд набегали круги, —
Пыль ль в свету обмирала, —
— за-будь ... сбе-ре-ги —

Скрежетал ли надгробной дугой в полусне
Мешковатый трамвай, —
холодок на десне —

Был лишь воздух-ходок по молочным резцам, —
Отступалась ли сетка в окне — от лица, —

Только чудилось — там, за раскрытым углом,
Золотой мой Точильщик, — до слез мой! — в наклон

Сыплет звездочки — ниц — засыпаю — как шаль,
С ножниц ли, с языка, обрывая, ножа ль,

— Очарован, рассвет хлопотал в лопастях, —
 ... и никто б не нашел меня — здесь — на костях.

— Я-то был далеко, обмерев, — иль нигде,
 Примеряясь по Лимбу к цветущей воде.

Вновь — по Третьей Каналоармейской вхожу
 В тот же дом, — в той же коже, прижатой к ножу

Приржавевшего воздуха, где под кайлом
 Заходился трамвай-чик, — срезаясь стеклом

стрекоза
 шелестел на рассвет протокол
 Две дурных бесконечн. — на осиновый кол...

Вновь зернулись круги, — вроде — липы цвели,
 Взяв от приисков-иск оборотов земли...

...
 Кисло-сладкий скрижа́пель разжеван,
 и вниз
 Тянет вяжущий вкус..., и последний мыс

Ойкумены очерчен — Каиной, каймой,
 Где сойдемся мы снова... —
 протиснись —
 за мной.

24 — 25 сентября 1989

2. ОБДУЧЕНИЕ

-нет-нет-нет! — не конец —
 то будильник-болид
 Захрипев, оступился, — слетел, —
 не болит,
 И в волчках колесуемый пол — всё смирней,
 Филемоны, Бавкиды — колес, шестерней;

Нам б такую любовь — зуб-за-зуб, выступ-в-паз
 Чтобы век точнотой наполнять
 про запас,
 Здесь такая любовь притираемых тел,
 Что — съедают друг друга
 на высланной тьме, —

Не беда, что разбились хóдики в конуре,
 — Есть нетленный курант в любовитой горе.

...Здесь, на полке, за-Буддою,
 шелкает пыль,
 В переборках "Звезды" ли, в подклейках "Невы" ль,
 Или — в "Знамя"-рывках
 холодел разворот —
 Вылиии — там, — здесь

(вы, мы ли?)

навылет, "—", в рот.

— Как любили детьми, шелкнув тихо засов,
 Заглянуть в Новый год за заслонку часов,
 Довоенных и жирных, вос-
 хитив дружка,
 — "Новый свет" — на краях острия и кружка.

Но —

мешок полосатый — не фосфор, — пыльца (?) —
 Некто мне подло-
 жил меж подарков отца:

В ночь к глазам подносил я — вскрывалось жерло —
 Ослепительный вздернутый свет, — как сверло,
 С материнской тоской — оком матерьял
 Разверзал, зеленел, —

... у р а н и л? — потерял?.. [UO₂]⁺

Эх, пораньше б украсить

и подвесить внизу б

Счетчик (гад: все трещал)

... а пропал, словно зуб...

(И — коронный разряд мне в "ТАМ-МОЖНЯ"х не нов —
 "Счетчик Гейгера" —

...-ман...-кер...-ник...-кин, -ян и-ОВ).

О страна, поголовьем своим изумляй,

Только что отстранилась т-,
в челюсках — земля?
Я бы в зев взял Осанну равнин, гор и скал —
Только зубчики в щелках стянулись в оскал, —
(Золотые коронки?! —
а тя- жечь для щек? и с клещами — зубило,
а к пеплу — Совок?)

Я печалюсь, как яблоко —
— всквозь — до кости; —
В духовидной жаре мне поникло — "Прости [...]"

На этом прерывается поэма. Все особенности стиля сохранены. В портфеле редакции стихи Глеба Денисова оказались совсем случайно, судя по всему, страничка-другая были к тому времени потеряны. Добавим, что ни один из нас не знает совершенно ничего об этом молодом таланте. Если у кого-то из читателей возникнет желание поделиться своей осведомленностью или прислать концовку поэмы — мы будем благодарны. *Редколлегия.*

Ц. Ц.

НОБЕЛИАТУ

Глазами образцов взглянул я на Парнас —
кому предназначается сей номер:
"Рейн, Кублановский..."?!
Всяк из них горазд —
да мертв давно, хотя еще не помер.

Исраэль МАЛЕР

ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ

"Метель. За окном ночью метель. Снег — белый, беспокойный.

За тридцать земель ты живешь. Обо мне ты не вспоминаешь. Ни строчки — я знаю — не придет. Не нужна мне больше память. Тишина бредет по большому городу...

Давным-давно ты не ждешь меня. Путей-дорог к тебе нет. У людей всего одно счастье, только не уберег я его. Не дает мне покоя ночью моя горькая вина. Тишина поет и звенит за окном ночью...

Найти, мне только б тебя найти.

В любом краю отыскать. "Прости" сказать только бы. Взять твою любимую руку.

Как ночи напролет — рассказать — без сна, летом и зимой, ждет тебя со мною вместе здесь тишина..."

Ниже — подборка из собрания фельетонов.

Карманный словарь иностранных слов (составил Н.Я.Гавкин, издал книгопродавец-издатель Ф.А.Иогансон /Киев — Харьков — С.-Петербург/, 21-е издание, значительно исправленное и дополненное) сообщает: "**Фельетон**, фр. — газетный отдел, легкая беседа, преимущественно на злобу дня, а также беллетристического содержания".

Эти штучки будут посильнее "Девушки и смерти" Горького. Это я вам обещаю.

Фельетоны в их истинном, немодном понимании. Как "Записки охотника", как "Дама с камелиями", как "Тристан и Изольда". Беллетристические и на злобу дня. Легкие беседы.

Лишь одно отступление, лишь одна дань, лишь одна сдача перед современностью: имена-фамилии заменены кличками-прозванками. Чтоб побасенней, чтоб понравочительней.

Выдь, товарищ, по вечеру на бережок, сядь, любезный, в палисаднике на приступочку; затянись, сволочь, махорочкой. Спой про тишину да Колыму: "...знаю я, ни строчки не придет, и писем моих не читаешь..." Да угадай: а как тебя кричать будут в зоне, на какое прозвище откликаться будешь. По той кликухе — и жить тебе. По той кликухе — и фельетон тебе.

От сумы да тюрьмы. Все там будем. Век живи — век учись. Сегодня жив, завтра жил.

Уми ты первым.

Вот умру я, умру я.

ГАЛКА — БЕЛАЯ ВОРОНА

За тремя заборами с козырьками колючими да через три полосы распаянные вычислил я Галку: по одну сторону топтались мужики, по другую — визгом исходили бабы.

Сидит Галочка в сторонке. Ручки на коленях, юбка одернута, бушлат запахнут, платком обмотана. Сидит чурбачком на приступочке. И сидит.

Шел я по этапу — попал на пересылку. Жизнь на пересылке — вольная. Веселая. Сегодняшняя. На пересылке — истории пишутся.

Стон: баб в соседняк забросили. Мы, в ногах путаясь, кто — к забору, а кто — и на крышу. То не флаги плещутся над пересылкой, то Махоня с Амбалом со Шлепой впляс пошли да фуфайниками над головой крутят, кровлями грохочут. А там, да на той стороне, манечки платочками размахивают. А как встречу вас, да как выебу, аж до глотки воткну, не забудется.

Пересылка — жизнь вольная. Ксивы пишутся. Дела делаются. Решения решаются. Суки режутся. Все как водится. Порешил Смурной Решку-пидара. Впилпил ему между белых ягодиц, а потом, не слезя, — пилкой по яблочку. "Смурной, ты чего творишь?" — "Перепилпил суку, на которой сижу".

Знакомства завязываются и развязываются. О кентах кентам параша идут. Тю-ю-ю...

Что твой паром — пересылка наша. До берега плывем, а там — разбежались. Разведут. Разведут конвойные по зонам. Тридевятое царство. Империя, бя. А тут еще и баб привезли.

Так по реке — паром мимо парома. Эге-ге-гей! И расплылись. И кранты. И финики. И ладно. Главное — успеть: сказать, передать, запомнить, записку бросить, сеанс словить, наколоть... И заочные браки на небесах вершатся.

Помахали ручками — и хватит. И ханы. Хоре.

А и мне знакомая выглянулась. На одном бану динамо крутили. Эй — кричу — чей пенек там в сторонке? Это? Это — Белая. Да какая же она — Белая, когда она — черная, как любовь моя?! Ворона — она — Белая, Галка — Белая Ворона, отдельная она, не возжаётся ни с кем, то ли в воду опущенная, то ли пыльным мешком из-за угла стукнутая. Тихая. Мертвая.

Сидела Галочка чурбачком на приступочке. Круглолица. Узкоглаза. Скуластенькая. А до посадки был у ней волос черный. Крыла вороньего.

Срок в три года тянула, что один день. И каждый день — что три года. Как спихнули ее в грязный железнодорожный снег с высокой ступеньки вагонзака, вытолкали из воронка, швырнули в зону, так замерла и пошла омертвелая, деревянная. На какие нары ткнули, туда кости и кинула. Миску сплюсненную сунули, взяла и не вякнула. Первой же ночью сидор выпотрошили, ватные брюки на заду распороли; не слова пожалела — не заметила. Так и шла днями по зоне — не возникла, не шебуршилась, не заедалась, не шакалила. Вот оно как с ней.

В лагере развлечения известные. Ублатуют старшину в зону пригнать не лошадку-бочковозку, а Ситного — жеребца известного. Жеребец — сказано сильно, так — мешок с костями старыми, но кишка, кишка болталась. Ситный свое несчастье знал, как к воротам подводят, так уже инструмент свой выпрастывает. Ходи-ходи, милай, живодер ждет, ха-ха-ха. Бочку волочит, упирается, башкой крутит, а те уже у КПП толкуются, хохочут, руки потирают. Белой Вороны это не касается, она и не взглянет туда, головы не повернет, глаза не бросит, в игры эти не играет.

А еще были работы такие — на огородах. Каждая с работы норовит с собой морковку пронести в зону. Вовка-Морковка. Ишь, какой крепенький, круглый да гладенький. А мой с бородавочкой, мой. На вахте солдатня изгаляется, беспредельничает, такую радость отымает. А кому проскочит, кто протащит, сидит на нарах, перед подружками похваляется, обмоет морковку, оботрет, за заварку вовку-головку на разок товаркам уступит. Только Галку никто с морковиной не ловил. Не видывал.

Что мужики, старшины да лейтенанты — знатные по зоне женихи к ней колышки подбивали, сладкой жизнью да крепкой любовью обещались. Фигушки-фигушки. На дачки не обольщались, в длинные слова не вслушивалась.

Да нет же, нет: верности никому не хранила, никому на воле не обещалась. Умерла она, понимаете, умерла живая.

О ТОМ, КАК ГЛОТ ПОШУТИЛ С КОСЫМ

Случай случился. У нас. Толкались мы в сушилке. Тарзан цифирь заваривал. Санья в сторонке устроился, все смотрел. И мы смотрели. Вот поднимается первяк, вскипает, золотистой пеной заходится. Тарзан кружку люминевую из огня вытаскивает, ему уже и баночку подставляют. Он туда цифирь сливает. Глот в тот раз какой-то нервный был.

Слили центряк. Третьяк сцеживаем. Идет баночка по кругу! Идет, милая! Глотнул — передай товарищу. Все — в норме, только Косой туфту толкает, макароны на уши вешает. Не ценили у нас Косого. Все у него с подковыркой, все с подьёбкой. Сорняк-человек.

— Тарзан, слышь, Тарзан, ты часом не портянку отварил? Вкус постирушный...

— Буде, — цыкает Санья.

— Мог бы и сахарком заправить, не жадобиться, от чая сладкого кайф бедовый.

— Хряй, — цедит Санья.

А Глот в тот раз точно был нехороший. Еще ему показалось, что Косой чем-то там его мать задел. А у нас это так: про жену — как хочешь, про невесту — пожалуйста, про родину — чем громче, тем лучше, а мать не трогай, не замай! Ты жива еще, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет...

Поднимается тогда Глот и говорит: "А ведь тесно нам с тобой, Косой, в этом мире. Не разойдемся. Не разбежимся, а на том, на белом свете уж окончательно посчитаемся. Сукой буду, а пасть тебе порву, стерлядь".

— Ты сказал, — ухмыльнулся Санья.

Косого у нас не миловали. Больно глаза в разные стороны разбежались, не поймешь на кого зенки настроил.

И так два месяца проходят. Все молчат. Ждут, то есть. Санья все на Глота посматривает да кадык потирает. А попробуй к Косому подберись: во все стороны, кощей, видит-глядит.

17-го августа, как сейчас помню, когда сел на лесоповале Косой за кустиками, штаны спустил, зад в траву окунул, по прямой сзади подошел хозяин его. Полосой, железякой с размаху — буденным — ему голову снес. Она в ту же траву и шлепнулась. Подскочил Косой, выпрямился, но головы-то нет. Как не было.

Шестьдесят дней точил Глот железку по душу Косого. А когда дело свое сполнил, пошутил:

— Косому и смерть с косой.

МАШКА-КОНЬГОЛОВА

Случилось наводнение в сентябре. Не в мае.

Не поздней весной — ранней осенью.

Солнце раздухарилось — снег подтаял — под ним протекли ручьи: потащили его с сопок — окунули в реку. Вот и наводнение.

Текла низиной вдоль поселка речка Майзас. Вдоль поселка — вдоль зоны да казармы, офицерских домов да вольных построек. Майзас-Су — Мутные Воды. Приехал человек, разглядел сверху реку, побежал тропой меж кустов, на ходу лушпайки сдвывает, — по мосточку склизкому и прыг — ласточкой. Прыг-то прыг, да так и остался стоять на черепушке, ножками размахивая — жидкости в Майзасе на три пальца, но дна каменистого сквозь муть не рассмотришь. Не разглядишь.

А тут — раздался Майзас, выполз из берегов, смешался с водами Томи, заполнили они впадину — озеро встало.

Вот, взяли бочки пустые. Соединили меж собой веревками. Красных тряпочек навязали. Обнесли зону от угла к углу, от вышки к вышке. Такие вот бакены. Такие байки. Зэки плавают по зоне на дверях, рыбу рыбачат, песни распевают: "В такую дурную погоду нельзя доверять никому".

А кто доверяет?

Прилетела из-за леса птичка. Перышки бархатные. Короткие. Белые-белые с голубым-голубым. В воду нырнула, вынырнула с рыбешкой в клюве, да и улетела в лес.

Окромя всего прочего снует на гиблой лодчонке меж домами вольными Машка-дорожница. Так кричит: "Эй, — кричит, — чего расселись — юбки по крышам распустили? Эх, всех мужиков сманю!" Да на песни из зоны отзывается своим дурным голосом: "...нельзя доверять никому".

Только вода чуть спала, ушел из зоны зэка Максимов. И куда бежал? Тайги нет, дорог нет, куда ни сунься — вода. Было озеро — стал остров. Он, душошлеп, осень с весной перепутал. Тянуть-то оставалось — три месяца и четыре дня как одно. Три месяца четыре дня оставалось ему до звонка.

Полчаса не пробежали солдаты по следу, а привел их Барс прямо к развалюхе Машки-дорожницы.

Врывается в дом служебно-розыскная группа во главе с сержантом Красковым. Врывается и с копыт летит — со смеху падает — смотрит им прямо в дверь из тесной каморки зад заключенного Максимова. Смотрит на них и спешит. Трепыхается.

Рядовой один кричит: "Которые тут временные — слазы!" А хохоту. И то — руки вверх в такой ситуации не крикнешь. Только Машка из-под мужика выдыхает:

— Крыськов! Сучья рожа! Дай кончить!

— Кончишь... — отвечает сержант, АКМ в угол кидает, по ремню двумя ладонями бьет.

Отрывают Максимова, стаскивают, веревками связывают, в угол под стол кладут. По очереди на Машку слазят, остальные тем временем самого дуют. Очень веселый наряд выпал. И стол, и дом готовы.

Уже потом, как натешились, вызвали автозак. Под ухи и ахи раскатали связанного да голого, в кузов, раскатав, зашвырнули. Сами вдоль бортов устроились, за борта держатся. И повезли. Поехали.

По дороге вспомнил сержант Краськов: всегда после этого дела поссать охота. Как говорится: однако было, всех ссать заманила. Залили Максима.

А когда осталась Машка-Коньголова одна, вытащила она из-под койки другую бутылку непрозрачного напитка. Лоскутные одеяла сбила под спину. Села — устроилась. Из горла хлебает. Да ноет жалобно про себя: "Ведь то не обо мне моя забота была! Чтобы кончил бегляк, просила".

МАТЬ

Было наводнение.

Было.

Еще вода не сошла, а уже другая напасть прибыла — ящур.

Конвойный старшина погулял, так погулял — чья козья морда из стайки выставится, так он ее сейчас из пистолета. А что? — согласно инструкции. Или приказа.

Почты нет. Вот оно как. Жрачку по сусекам наскребали. Ларек опустел, словно квартира товарища Семенко после того, как ее Дон с Махметкой посетили. Потом кончилось курево. Курево-марево.

А тут еще менты под это дело прикрыли свиданки. С крыш смотрели мы на речку Томь, кляли деревянные коробки с опилками, о которые следовало вытирать ноги перед каждым крыльцом. Вспоминали чайные спивки, выплеснутые в костер. Пели. Песни пели.

Жил, то есть — сидел, то есть — кантовался, среди нас один мужик с самой Грузии. Грузин. Биджо его звали. Подзалетел Биджо по обстоятельствам семейным: брательник у него имелся, злой убийца, от мусоров у братишки в саду заховался, у них там, в Грузии в этой самой, у каждого свой сад, а то и больше, в горах где-нибудь, оттуда его и дернули, вылез хмырь в тошниловку, домашнее приелось, короче — старшего вышканули, а младшему, чтоб Родину больше себя любил, червонец вкатали. Я о нем почему вспомнил?

Нарисуйте себе — день, месяц, два лежите вы на крыше, за зону на дорогу смотрите, а на той дороге никто и не появляется. Галимый нуль. И не может появиться. Откуда? Паром не ходит. Охрана на берегу лодки гоняет. Ящур. Ящур, ящур, ящур! Забодай его коза, а нам что, из-за этого ящюра помирать прикажете?!

Такую картину рисую — лежу на крыше, загораю, значит. Гляжу в стороне от веселых друзей на кремнистый путь. Жадно гляжу. И вот на том самом пути — пустынном, как карман моего папаши, крепостного Советской власти, и хоть крест на том пути ставь, хоть кол теши, а нам без разницы — появляется черная точка. Сначала появляется, а потом начинает расти. Расти и приближаться. Мы — умерли.

Проясняется: точка эта — баба, правда, старуха. Широкая в бедрах мамаша была. Но из себя вся плоская. Что круг сыра. Хотя запомнил, бляха-муха, как сыр выглядит. Даже голландский. И канает старушенция, пустое вымя, вперевалочку. С ножки на ножку. Два угла прет, сука. А вдруг в них курево и варево? А?

На голове у мамыши черный платок, юбка хлебыстает по ногам — черная. Кофточка приталенная, но навывпуск, — тоже черная, но с цветочками, а поверх того всего шуба, черная, по-чапаевски наброшена. Мамаша, видать, подвздопрела, я бы подсобил, да вот — не пускают.

А грузинский наш Биджо ка-а-ак закричит, ка-а-ак заскачет, ка-а-ак заверещит, и руками размахивает. Горный орел, значит. Старуха, вроде с испугу, коферы в грязь бросает (руками тож принялась шевелить да еще волосню себе на голове рвет) и кричит, и кричит. Тот с крыши орет, эта — с дороги. Во! Кино. Полное. Короче — матаня его привалила. Сами смотрите: по-нашему ни бельмеса, поездами с пересадками до нас, переправу где сыскала, по грязище семь километров с чемоданами своими пехом перла, и все, чтоб на Биджу своего полюбоваться, а ты говоришь.

За те сроки, что Биджо стригся в нашей зоне, сгутарил он для своих балалайку кавказскую, а дура старая два угла чачи приволокла. Национальный инструмент капитан Коля-Коля передать разрешил, с чачей дело понятно, но ведь и на свиданку старуху-мать не допустил. Приказ, говорит. А что ему приказ? Так беспредельничает. Без понятия оборзел.

Гудел всю ночь вольный поселок. Сдала старая чачу вольняшкам. И Чибис пил, и Гоголь, и Хохол. Коля-Коля тоже прикатил пожмуриться, но от него это дело укрыли понадежней. Мол, было, но кончилось. Вышло. И не потому так сотворили, что наказать за черствость душевную хотели или зажать, а потому, что мог Коля-Коля без напряга выбрать ведро и не пукнуть. К утру все были плохи. И некому было старуху до Томи на лесозовозе подкинуть. Скинула по утрянке она вещички в узелок и почапала. Биджо с того самого дня Чачой нарекли.

Принц, дундук, возьми да и брякни: "Дело, что старшего к стенке поставили, а то сбилась бы с ног старушенция", — и в раз по мордам схлопотал, чтоб не вякал, чтоб не раззевал плевательницу, чтобы не суетился зазря.

КАРЗУБЫЙ И АНТОНОВ

Мы сидим — играем в стирки. Мы играем в стирки, но не идет игра. То карта моя, то — Амбала. Везуха — невезуха. В банке — телогрейка Ванича. Сам Ванич сидит по соседству, все надеется, что выпадет ему еще разок перекинуться и вдруг да отыграет свою лушпайку.

Мне Ванича жалко. Трястись ему завтра на морозе. Я отдал бы Ваничу его. Но — было ваше, стало наше. "Э, паря, — заметят, — да ты слаб на передок". И запомнят. Слабому — нельзя. Это-то я ухватил за четыре года посадки.

"Шуба!" — кричат из-за двери, и карты исчезают со стола. Через полсекунды лягут они за досточкой в нарах на другом конце барака. Входит надзиратель Матвейчук:

— Ну, чем заняты, трудноперевоспитуемые? — это у него шутка такая. — Чего стихли? Стирки-то где?

— Начальник блатует! — А чего это — "стирки"? — Ну и хохмач, гражданин начальник! — Ты принеси карточки, мы с тобой и сыграем. — Может первую звездочку на погон выиграешь! — А то ставим нашу Маньку против твоей Аньки!

— Тихооо! — срывается Матвейчук. — Карты на стол! Шмон сотворю! Староста — на вахту! Двоих надзирателей — сюда! Срочно! Сей-час разберемся!

— Поменьше бы твоя воняла, — произнесли вдруг спокойно, и старшой, не сомневаясь кто, оглядывается на притершегося спиной к стеночке Карзубого.

Санька Карзубый всегда вот так молчит, пока не скажет. Привалится к стенке и стоит часами. Присядет на корточки и сидит часами. Руки у него длинные.

Когда Санька улыбается — никаких ямочек на щеках: словно бритвой рассекли кожу и она стянулась, обнажив редкие черные зубы. Вот и сейчас — он улыбается. Матвейчук только передергивает губами, чья пустогрейка спрашивает, кидает ее Ваничу, выходит, и Ванич перебрасывает телогрейку на стол.

Через пятнадцать минут Карзубого дергают к оперу. Он к оперу идет спокойно — пусть опер его боится.

— Ну, что, заключенный Севостьянов, долго еще бузить будем?

— А вы, гражданин начальник, первый кончайте бузить, а я в тот час за вами и завяжу.

— Ты мне лучше скажи, старшину зачем обидел?

— А он что, обиделся?

— Не придуривайся. Матвейчук — солдат хороший, к вам особо не придирается, не беспредельничает, а что неположено, так неположено.

— Он, значит, — хороший, старшина, а я — вор, марамыжник, убийца. Он, значит, — человек, а я — так, говно на палочке?

— А ты, что... это... порешил кого?

— Ты меня на слове не лови. Сам знаешь: убить могу. А убил — это докажи.

— Ох, Севостьянов, ох, Севостьянов, когда ты нормальным человеком станешь?

— И чем это я тебе не человек? Все мы люди.

— Вот смотри — в вашей же бригаде Антонов с последнего этапа, работает, дисциплину не нарушает, смотри — выйдет через года три и по обратной не попадет...

— Не попадет?

— Не попадет.

— Так уже и отпустите человека! Знаем!

— Отпустим! Антонов — нормальный человек, он еще на воле поработает!

— Ииии — завел! Матвейчук — человек, Антонов — человек, можа и ты — человек?

— А кто же?

— А вот на костылях у тебя чоботы новые — сколько пачек Абдулле в зону перекинул, работничек?

На следующее утро выводят Карзубого из БУРа. Матвейчук — к нему, аж спотыкается.

— На работу пойдешь или опять в отказ?

— Пойду, пойду, человек хороший, воздухом подышу.

— Я те подышу! Рогами упираться будешь. Я тебя сломаю.

— Один такой ломал.

— Поговори.

— А я чего, молчу что ли?

Матвейчук, махнув рукавицей, отваливает.

Нас собирают толпой у вахты. Приходит наш конвой. По пятеркам направляют в кузов автозака.

Как только в тайге разгорается костер, Карзубый — тут. Через часок и я присаживаюсь к костру.

— Как дела, Сань?

— Да какие тут дела?

— Все куришь?

— Курю.

Он смотрит туда. Он смотрит на Антона. Уже который день. Он то смотрит на Антона, то крутится возле него. Чего ему от парня? Отобрал бы передачу, шмотки, курево, в морду бы дал... Непонятно.

"Опедерасит его, сукой буду, пробьет ему очко", — уверяет всех Рыжий и от нетерпения вздрагивает.

— Веришь, я все могу? — бухает Карзубый и смотрит на Антона, что возится на повале.

— Что значит, все? — откликаюсь я.

— Да вот, возьму и уйду в побег, — Карзубый прикуривает новую самокрутку.

— Так поймают.

— Споймают? Знать, и они много могут. — И щелчком отправляет чинарик в костер. — Споймать-то споймают, да не удержат. Я им не болт — в кулак не припаян.

Вечером я — на верхотуре — ловлю сеансы. Тут вижу, захомутал Карзубый Антонова и повел под мою крышу: "Постой, паря, пошепчемся". Я замер: чтоб за стукача не сочли.

— Слышь, Антон, ты что, и так все три года рогами упираться будешь?

— Почто три? По двум третям выйду. Да и ты бы, Сань, мог.

— Я, парнишка, уже выходил. Вернули. Потом еще выходил. А встретились здесь.

— Сань, я-то случайно попал.

— Все остальные — специально. Я сюда, Антоша, с первой группы детского садика просился, подождь, грят, молод пока... Дело есть, паря.

— Меня ваши дела не колышат.

— К бабам хочешь? — Мы все знали: кто-то из конвоя за бутылку отпускает Карзубого к бабам, что работают неподалеку от рабочей зоны на торфе. Как и что, с кем и когда — нас не касалось. У каждого были свои тайны, свои дела, свое. И ладно.

— Я не могу. Я обещал. Пойдешь вместо меня, им без разницы, — гнул свое Карзубый. — Пойдешь и вернешься. Я тебе все расскажу, что и как, а ты никому не скажешь, потому что домой хочешь.

Знал Карзубый на что подловить. Ни на деньги, ни на пайку Антонова не поймал бы. Без денег — плохо, без жрачки —дохнут, без баб — дуреют.

На следующий день, когда в обед пересчитали нас, эдак через полчасика раздалась автоматная очередь. Другая. Третья. Нас согнали в кучу. Пригнали, пересчитали, сняли.

На полосе лежал Антонов.

— Эй, старшой, — кричал с машины Карзубый оперу, — ты ведь обещал, что Антон на хату свалит!..

— Эй, старшой, — кричал надзирателю, — не того сломал, а?

— Эй, старшой, — кричал солдату, — теперь ты — настоящий человек, в отпуск махнешь...

— Эх. — Сел на скамью. — Говорят, хороший человек был, нормальный, а пулю словил.

Вечером я спросил Карзубого:

— А ты что, ссучился, Карзубый? Как вышкарь узнал, что не ты ползешь?

— Чтоб я ссучился? Я его неделю науськивал, водяры не давал, вот он и предупредил меня, что конец нашим... Э-э, постой, как ты знал? И никому ни дыхом? Еще один нормальный человек, значит.

ВАСЬКА-ШОРЕЦ

Васька-шорец убил жену. Васька-шорец убил жену топором по голове. Утром проснулся, жена рядом лежит, топор в крови, а геологи уже улете-ли.

Суд учел пьяное Васькино состояние, приписал ему чувство ревности и вlepил всего-то семь лет. Правда, строгого. "А и чего расстреливать, попашет, срок оттянет, а там и расстрелять можно, — шутил старший надзиратель сержант Слепышев, — чего, Васька, расстреляем?" Васька в ответ улыбался, крутил чайником: "Можно, расстрелять можно".

Семь лет, а чего Ваське не сидеть? Тот же лес и та же тайга. Чай — хорошо, чай — тепло, силу чай дает. Я топором по стволу бах-бах, а на кедраче царापина шрамоватая. Васька по дереву тюк-тюк, кедр валится. Меня мороз ест, топориче в рукавицах ледяных скользит, снег в валенки набирается, ноги — протезы. А шорец у костра не греется, топориком суетится, на всю бригаду пайку вырубает.

И водка в зоне бывает. Чего еще? Живи.

Так проходят годы. Васька в зоне, что на воле, чего к нему прицепились — не очень-то ловит. Иногда вызовет его к себе замполит. Для профилактики. Про то, про се спросит, про Америку предупредит, а в конце всегда добавит: "Ты, заключенный Васька, етить твою мать, совершил страшное преступление против человечества и нарушил советские законы. Попытайся осознать всю тяжесть своего поступка, нестиранная обезьяна. Выйдешь на свободу, топай на могилку жены и подумайте обо всем хорошенько. Можете уебывать, гражданин заключенный, пока ШИЗО тебе не вlepил по первую десятку".

Но пришел, пришел-таки последний день! Кончился Васькин срок! Весь

вышел. Весь. Получил бумажки, справки, мятые рубрики. Только старшина в каптерку не идет, Васькины лушпайки не отдает, отсиди, говорит, еще семерик, можа и возверну. А лушпайки у Васьки — дерьмо, луковые ошметки, картофельная шелуха. Старшина у себя вокруг параши такими пол мыть не станет. Но поигрался и хватит, поиздевался и все. Отдал, чертова рожа.

Вышел Васька за зону. По дороге с километр прочапал. В сопку свернул. Пошел, не присаживаясь, без отдыху-роздыху. Эй. До родного поселка. На третий день пришел, мешок в угол дома кинул, шапку поправил, где могила жены, спрашивает, дело есть.

Но никто не знает (или не помнит), где могилка бывшей Васькиной жены.

Сел шорец на деревянный табурет. Сел и задумался: "За что же я семь лет сидел?" Семь лет.

ДЕВЯТКА

Сла Саса по сосе и сосало.

У нас в "пятнадцатом" не соскучишься. Саса сидит в своем углу. Вышивает. У него на тумбочке — платок черный, по полю розы яркие. В баночке — цветочки, на полянке собранные. Приди ко мне, я весь благоухаю...

В другом углу — Среда. Дрочила знатный. Под подушкой у него всегда заховано два-три номера знаменитого журнала "Советский экран". Когда Среда дуньку-кулакову гоняет, нам все в голос выдает: "Давай, миленькая, давай! Обожди его, дурака, своим тепленьким..." Порой такого нагнетет, до утра нары ходят-скрипят под мужиками.

Пашá у нас заместо печки будет. Пашка Нарком, чем не набухается — кодеинчиком или планчиком, а то просто сладким цифиром обойдется — улетаёт, а сам жаром пышет. А так он тихий. Тиха наркомовская ночь.

Каждому Гришке его делишки.

Толстому романы тискать.

"...И когда по тем самым краям проезжал вице-губернатор Сибирский, граф Наврозов, держа путь на тот самый город столичный Петербург, с дочкой своей, а деваха была что надо, самый раз со всех сторон, богатая и тут, и тут. Вышел Каин на тракт, в красной рубашонке, сапоги скрипят, чуб цыганский на губы спадает, схватил коней под узду стоп говорит машина наше вашим слазьте ваше благородие приехали значит, а в руке ножичком поигрывает. Граф в позу встал: не слезу — кричит. Слезешь, за милую душу слезешь — отвечает ему Каин, а сам нехорошо так ухмыляется, эх — слезешь, и ордена-медали уступишь, нам давно полагається, за выслугу

лет. Граф уже обсикался, в штаниках-шаловарах сзади вот такая куча висит, ордена — просит — оставь, взамен даю фрейлёну нашу. Чего не хотим — того не хотим, а чего хоти — возьмем сами, не указ, а фрейлёну не надобно, у немок это самое место поперек будет, нам несподручно..."

Тут Среда к концу подходить стал, аж заходится; Саса на него так по-смотрел, а Паша́ сквозь ясный мрак поднялся да засопел...

Больше дальше. Рупь сбивает Среду с темпу и куражится кощеем — ты чего, бля, на ненаших, а империалистических баб трухаешь, мало тебе своих, и сует ему в самую пасть картинку из "Огонька", где бабы хлеб в мешки вяжут в удобных позах. "Рупь — денежка круглая, нас на попа не поставишь", — это он сам о себе так, но — личность мелкая, суетливая, мелкой злобы. Гиль.

С месяц уже будет — поступил к нам в академию пацан молодой — Девятка. По глупости парняга подзалетел. Разыгрался, а кошка его цап-ца-рап и — к нам за проволоку.

Сел за что, и за что кликуха такая? А взяли его за игру в "девятку". Фраерская игра. Больших фраеров дети в нее играли. У фраеров и дети — фраера. У фраеров и игры фраерские. "Папа лысый, мама лысый, лысый я и сам, вся семья моя покрыта лысым волосом". Папа — фраер, мама — фраер...

Становились, значит, девять бабцов раком вокруг стола (девки тоже — из ихних). Бойцы ставили на кон по сотняге, на стол кидали, вкруг. Картинка, скажем, что надо: девять жоп одним глазом смотрят, а посередке — капуста. И каждый должен был по кругу каждой по самые яйца вогнать, достать и перейти к следующему номеру. Кто всех девять пройдет, тот и пан, если не сбрызнет по пути-дороге. Тот и король. Развлекались детки, пока не решили их замести. У кого пахан был шишка побольше, того домой отвезли, мамке сдали, а таким, как Девятка, выписали по-разному.

Рупь, когда раскусил, чем ребятки баловались, так весь желто-синим залился, зеленым стал. Моя мать, — кричит, — всю жизнь пахала, колосок к колоску подбирала, да видел бы Ленин такого, враз бы из мавзолея встал бы...

Где колоски мама его подбирала и какие, мы, положим, слыхивали, но и другим игра не показалась, и под подначки рупьины стали доставать пацана. Бациллы да дачки отханыживали, от огня оттискивали, кружку мимо проносили. "Девятка? Не знаем. Шестерок видывали. На восьмерок смотрели. Сам — двоих знаывали, а про девяток нам ничего и не ведомо". Так вот.

Вот и сейчас. Рупь над Средой куражится, а сам все ближе к Девятке подбирается. И — хватъ его за отвороты бушлата, стянул, костяшками кулаков придушил: "А скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?"

Был Володька парень крепкий, правда — тихий. И то — первый раз под судом прогуляться! А тут — вдруг — кааак врежет — Рупь откатился, соплю сглатывает, глазом смотрит. "Отлынь", — только и сказал Девятка.

А теперь — поймите, если сможете. Встанет сейчас Рупь, и как все обернется. Может — быть Девятке знаменитым уркаганом, или — трупом, а то вернется в свой институт, инженером станет, может, попользуют его, а то, по старым связям, крупные наводки давать будет.

Вот сейчас встанет Рупь, и чего-то решится. Вот сейчас, в это самое мгновение. Как все обернется? Господа.

Вот он приподнимается.

ГАЛКА — БЕЛАЯ ВОРОНА

[...] А еще были работы такие — на огородах. Каждая с работы норовит с собой морковку пронести в зону. Вовка-Морковка. Ишь, какой крепенький, круглый да гладенький. А мой с бородавочкой, мой. На вахте солдатня изгаляется, беспредельничает, такую радость отымает. А кому проскочит — кто протащит, сидит потом на нарах, перед подружками похваляется, обмоет морковку, оботрет, за заварку вовку-головку на разок товаркам уступит. Только Галку никто с морковиной не ловил. Не видывал.

Что мужики, старшины да лейтенанты — знатные по зоне женихи к ней колышки подбивали, сладкой жизнью да крепкой любовью обещались. Фйгушки-фйгушки. На подарки не обольщались, в длинные слова не вслушивалась. Да нет же, нет. Никому на воле не обещалась. Умерла она, понимаете, умерла живая.

А три года? Три года проходят. Освободилась под звонок, домой в город фабричный поехала. Отбарабанит смену — домой. Сядет перед зеркалом, на отрастающие волосы посматривает. Днем-то в платочек укутана. Потом прическа выросла. Все проходит. Все вроде бы.

Собрала Галка как-то чемоданчик, разрешение испросила и поехала по рельсам железным назад, в Сибирь, к родному лагерю поближе. На учет встала, на работу устроилась. Пять дней работает, на седьмой в зону передачу тащит — всем бабам по конфетам, а Серафиме Николаичу еще и ромовую бабу.

* * *

Учимся, еще как учимся.

Умру-ка я сегодня, ты — завтра. Из зоны в зону перехожу, один раз живу. Будет, будет мучительно больно вспоминать годы. Как ни живи. И

поплыву я над миром, теряя шелуху кличек своих, кликух, прозвищ, прозванок. Только имя мое и останется мне. Данное при рождении. Или до.

Больно, больно жить среди вас, людей, больно быть человеком. Наши возможности. Наши скрытые возможности. Отползти с дороги в канаву, позабыть за болью отбитых почек, опухших губ, немеющих мыслей о своем, о человеческом происхождении... А сегодня, улыбаясь облакам, прикусив сигаретку, оборвав травинку, собрал я для вас сие — фельетоны.

"Фельетон — в газете особый отдел, обыкновенно в нижней половине газеты, посвященной статьям публицистич., научного или литерат. характера в легком и общедоступном изложении" (Энциклопедический словарь Ф.Павленкова 5-м изданием, со стереотипа 4-го издания. С.-Петербург, отпечатано в Германии).

Все правильно. Законы жанра не нарушены. Можно бы и попеть.

"И писем моих не читаешь, знаю я, ни строчки не придет..."

Зэка стонали от качки, обнявшись, как братья родные. И только с языка порой проклятья глухие срывались. Туман растаял утром, и морская пучина утихла. Магадан восстал на пути — края Колымского столища.

Тайга пятьсот километров. Люди, как тени, качаются. Сюда машины не едут. Олени бредут, спотыкаясь. Ты не ждешь меня — я знаю, не читаешь моих писем. Не пойдешь ты меня встречать, и не узнаешь, встретив..."

Азриэль ШОНБЕРГ



И, когда наполнился Ад, обратился Начальник Ада к Хозяину: "Останови миры, ибо Ад полон!" Но был Хозяин занят своими играми и ответил: "Не судите их строго, откройте врата Рая шире". И был переполнен Рай, и воззвал Директор Рая к Хозяину: "Останови миры, ибо Рай переполнен!" Но был Хозяин занят своими делами и ответил: "Пусть их, пусть остаются среди живых". И стал мир наш наполняться мертвыми.

Лоуренс АРАВИЙСКИЙ

ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ПРИНЦИПОВ

Умение обходиться с геджасскими арабами представляет собой искусство, а не науку; оно имеет исключения, но не имеет каких-либо определенных правил...

1. Загладить плохое начало трудно, а между тем арабы составляют мнение по наружному виду, на который мы не обращаем внимания. Когда вы достигли внутреннего круга племени, вы можете делать с собой и с ними все, что угодно.

2. Узнайте все, что только можете, о ваших шерифах. Старайтесь узнать их семьи, кланы и племена, друзей и врагов, колодцы, холмы и дороги. Достигайте всего этого слушанием и косвенным наведением справок. Не задавайте вопросов. Заставляйте говорить на арабском языке их, а не себя. Пока вы не сможете понимать их намеков, избегайте пускаться в продолжительные разговоры, так как иначе это может кончиться плохо...

3. В деловых вопросах ведите переговоры только с командующим армией или той частью, в которой вы служите. Никогда никому не отдавайте приказаний; сохраняйте вашу прямоту и советы для командующего офицера, как бы ни был велик соблазн (хотя бы и для пользы дела) связаться непосредственно с его подчиненными.

4. Добейтесь доверия вашего вождя и поддерживайте это доверие. Укрепляйте, если можете, престиж вождя перед другими за свой счет. Никогда не отказывайтесь и не разбивайте тех планов, которые он может предложить; старайтесь достигнуть того, чтобы он ставил вас в известность о них частным порядком и в первую очередь. Всегда одобряйте их, а похвалив, изменяйте их мало-помалу, заставляя самого вождя вносить предложения до тех пор, пока они не будут совпадать с вашим собственным мнением. Когда вам удастся этого достигнуть, заставьте его держаться этого взгляда, овладейте полностью его мыслями и толкайте

его вперед как можно сильнее, но скрытно, так, чтобы никто, кроме него самого (и то лишь очень смутно), не чувствовал вашего воздействия.

5. Постоянно поддерживайте близость с вашим вождем, стараясь в то же время не быть навязчивым. Живите с ним, чтобы во время еды и приемов вы, естественно, могли быть возле него в его палатке. Формальные визиты, для того чтобы дать совет, не столь хороши, как непрерывное внушение тех или иных идей при случайном разговоре. Когда впервые в палатку приходят незнакомые шейхи, чтобы поклясться в своей верности и предложить свои услуги, покиньте палатку. Если у них создается первое впечатление, что иностранцы пользуются доверием шерифа, это сильно повредит делу арабов.

6. Избегайте слишком близких отношений с подчиненными. Постоянные разговоры с ними сделают невозможным для вас скрыть тот факт, что офицер-араб, давший те или иные инструкции, сделал это по вашему совету; выдав тем самым слабость его положения, вы совсем испортите себе все дело.

7. Держите себя с помощниками вождя вашего отряда естественно и непринужденно. Этим вы поставите себя над ними. Оказывайте их вождю, если он шериф, уважение. Он будет возвращать его вам, и таким образом он и вы окажетесь равными и будете возвышаться над остальными. Арабы очень считаются с превосходством, и вы должны его достигнуть.

8. Для вас будет наиболее выгодным то положение, когда вы, присутствуя, остаетесь незамеченным. Не будьте слишком искренни и слишком настойчивы; старайтесь не бросаться в глаза. Желательно, чтобы вас не встречали очень часто с каким-либо одним шейхом. Для того чтобы иметь возможность выполнять свою работу, вы должны быть выше всяких подозрений, так как вы потеряете свой престиж, если будут думать, что у вас имеется какая-то связь с племенем или кланом и его неизбежными врагами...

9. Восхваляйте и всячески поддерживайте создавшееся среди арабов представление о том, что шерифы являются природной аристократией. Существующая между племенами зависть делает невозможным для любого шейха достичь господствующего положения, а потому единственная надежда на образование союза в Аравии состоит в том, чтобы шерифы были повсеместно признаны в качестве правящего класса. Уважение арабов к родословной и их благоговение перед пророком позволяет надеяться на конечный успех шерифов.

10. Называйте вашего шерифа "сиди" при всех и наедине. Называйте других их обычными именами без титула.

11. Иностранец и христианин не пользуются популярностью в Аравии... Действуйте повсюду именем шерифа, всячески скрывая свое собственное

участие. Если вы добьетесь успеха, вы получите власть над территорией в несколько сот километров с тысячами людей, а ради этого стоит поступиться самолюбием.

12. Никогда не теряйте чувства юмора: оно может пригодиться вам ежедневно. Больше всего подойдет непосредственная ирония, умение же дать остроумный ответ без излишней веселости удвоит ваше влияние среди вождей... Не допускайте шутки над шерифом, если остальные присутствующие не являются шерифами.

13. Никогда не бейте араба: этим вы унизите себя. Вы можете подумать, что явившееся результатом этого явное усиление внешнего проявления к вам признаков уважения улучшит ваше положение, на самом деле вы лишь воздвигнете стену между вами и их внутренними кругами. Конечно, трудно оставаться спокойным, когда все делается не так, как следует, но чем больше вы сохраните хладнокровия, тем больше вы выиграете, а кроме того, сбережете себя от возможности сойти с ума.

14. Хотя бедуина трудно заставить что-либо делать, им легко руководить, если только у вас хватит терпения. Чем будет менее заметно ваше вмешательство, тем больше будет ваше влияние. Бедуины с охотой будут следовать вашему совету... но они не предполагают, что вы или кто-либо другой об этом знает. Лишь после того как окончатся все неприятности, вы откроете в них наличие доброй воли.

15. Не пытайтесь делать слишком много лично. Пусть лучше арабы сделают что-либо сносно, но зато сами. Это их война, и вы должны им лишь помогать, а не выигрывать для них войну. Кроме того, в действительности, принимая во внимание совершенно особые условия Аравии, ваша практическая работа не будет столь хороша, как вы, пожалуй, воображаете.

16. Если можете, то, не впадая в расточительность, делайте подарки. Хорошо сделанный подарок весьма часто является наиболее верным средством для того, чтобы привлечь на свою сторону самого подозрительного шейха. Никогда не принимайте подарка без того, чтобы щедро не вознаградить за это... не допускайте, чтобы они стали у вас выпрашивать, так как иначе их жадность заставит их смотреть на вас только как на дойную корову.

17. Если вы находитесь вместе с племенем, носите головное покрывало. Бедуины относятся с предубеждением к фуражке и считают, что наша настойчивость в ношении ее вызывается... каким-то безнравственным и противорелигиозным принципом. Если бы будете носить фуражку, ваши новые друзья-арабы будут стыдиться вас при других.

18. Маскировка не рекомендуется... В то же время, если вы, находясь среди племен, сумеете носить арабское одеяние, вы приобретете у них такое доверие и дружбу, какие в военной форме вам никогда не удастся

приобрести. Однако это и трудно, и опасно. Поскольку вы одеваетесь, как они, арабы не будут делать для вас никаких исключений. Вы будете себя чувствовать, как актер в чужом театре, играя свою роль днем и ночью в течение ряда месяцев, не зная отдыха и с большим риском. Полный успех, которого можно достигнуть лишь тогда, когда арабы забудут, что вы иностранец, и будут в вашем присутствии говорить откровенно, считая вас за одного из своих, может быть достигнут лишь особенной личностью. Частичного же успеха (того, к которому большинство из нас стремится, так как полный успех достается слишком дорогой ценой) добиться легче в английской форме. К тому же, поскольку вы не лишаетесь связанного с ней комфорта, вас хватит на более долгое время. И еще: если вы будете пойманы, то турки вас не повесят.

19. Если вы будете носить арабское одеяние, носите которое получше. Одежда имеет большое значение у племен; вы должны носить соответствующее одеяние и чувствовать себя в нем совершенно свободно. Если они не возражают, одевайтесь, как шериф.

20. Если вы решитесь на маскировку, то вы должны выполнять ее полностью. Забудьте ваших английских друзей и английские обычаи и усвойте целиком все привычки арабов. Не исключено, что европеец, начав игру, сможет ее выиграть, так как мы имеем более сильные побуждения для наших действий и более отдаемся им, чем арабы. Если вы превзойдете их, это значит, что вам удалось сделать большой шаг на пути к полному успеху. Однако напряженная жизнь в чужой среде и необходимость думать на чужом, наполовину понятном языке, дикая пища, странные одеяния, при полной потере частной жизни и покоя, наряду с невозможностью ослабления внимания к окружающим, требуют такого добавочного напряжения в дополнение к обычным трудностям — обхождению с бедуинами, климату и туркам, — что решение выбрать этот путь может быть сделано лишь после серьезного обсуждения.

21. Нередко вам придется участвовать в дискуссиях по вопросам религии. Говорите о ваших убеждениях что угодно, но избегайте критиковать их взгляды, пока вы не убедитесь, что вопрос касается обрядности. Среди бедуинов ислам является настолько растрогранным учением, что у них религиозности так же мало, как мало религиозного пыла, и нет никакого уважения к обрядам. Однако, основываясь на их поведении, не думайте, что они небрежно относятся к религии. Убеждение в праведности их веры и ее роль в каждом их действии и поступках повседневной жизни настолько сокровенны и глубоки, что являются почти бессознательными, обнаруживая себя в случаях несогласия. Для них религия так же естественна, как сон или пища.

22. Не пытайтесь снискать себе уважение своими знаниями военного

дела. Геджас спутал все понятия об обычной тактике. Постарайтесь изучить принципы ведения войны бедуинами как можно лучше и как можно скорее: пока вы с ними не ознакомитесь, ваши советы шерифу не принесут никакой пользы. Бесчисленное множество набегов племен научили их тому, что в некоторых вопросах тактики они знают больше нас. В знакомых для них условиях бедуины сражаются хорошо, но незнакомые явления могут вызвать панику. Сохраняйте ваш отряд небольшим... Чем менее обычны ваши действия, тем больше вероятия, что они поразят турок, так как инициатива у них отсутствует и они считают, что и у вас ее нет. Не основывайте ваших действий только на обеспечении безопасности.

23. Те явные причины, которые бедуины приведут в оправдание своего действия или, наоборот, бездействия, возможно и окажутся соответствующими истине, но для вас всегда останутся другие, тайные причины для разгадки; поэтому, прежде чем принять то или иное решение, вам придется вскрыть эти внутренние мотивы. Намек производит больший эффект, чем логическое разъяснение. Арабам не нравится краткое изложение мысли. Их ум работает так же, как и у нас, но с другими предпосылками. У арабов нет ничего безрассудного, непонятного, таинственного. Опыт, приобретенный пребыванием среди них, и знание их предрассудков позволят вам почти в каждом случае угадать их отношение и возможный метод действия.

24. Не смешивайте бедуинов с сирийцами или обученных людей с представителями племени... Арабы города и арабы пустыни смотрят одни на других, как на бедных родственников, а последние еще более нежелательны, чем бедные иностранцы.

25. Не следуйте примеру арабов и избегайте слишком свободных разговоров о женщинах. Это столь же трудный вопрос, как и религия. В этом отношении взгляды арабов настолько не похожи на наши, что безобидное с английской точки зрения замечание может показаться для них несдержанным, так же как и некоторые из их заявлений, переведенные буквально, смогут показаться несдержанными для нас.

26. Будьте так же внимательны к вашим слугам, как и к самим себе.

27. Весь секрет обхождения с арабами заключается в непрерывном их изучении. Будьте всегда настороже; никогда не говорите ненужных вещей, следите все время за собой и за вашими товарищами. Слушайте то, что происходит, доискивайтесь действительных причин. Изучайте характеры арабов, их вкусы и слабости и держите все, что вы обнаружите, при себе... Ваш успех будет пропорционален количеству затраченной вами на это умственной энергии.

Наум ВАЙМАН

РОМАНТИЧЕСКАЯ БАЛЛАДА

Пуст мрачный замок сердца моего.
По гулким казематам
брожу, единственный их узник и защитник.

Когда-то в этих залах пировали
бродяги рыцари, мечтавшие о славе,
по кельям прятались сомнительные девы
и требовали ласк,
влюбленные в броню.

Бродяги сгнули на тропах безымянных,
легли костями на грозных перепутьях,
разнузданные девы вышли замуж
за деловых людей —
на редкость дюжих конюхов содержат.

Замок обветшал.
В попытках ум развлечь
беседой с мудрецом, ученым и святым
прошло еще одно десятилетье
в недоумении.
Святой был пресный девственник,
ученый сроду глуп,
мудрец — картишки передергивал, бедняга.

Спасибо случаю, со скуки забегала
одна с угрюмым юмором особа
из бывших nereид
(возможно эти своды
о ком-то в прошлом ей напоминали) —
потискаться, послушать откровенность
отчаянную.
Так и привязалась.
Проснулся блеск в глазах,

откуда ни возьмись —
простосердечие.
И век бы скоротать
украдкой.
Да дальняя дорога
видать удел ее.

Теперь целуйся, брат,
со сквозняком,
слоняйся по чертогам
да любуйся
на запустение.
Угасших витражей паучие узоры,
в подвалах склизких
мерзкий наглый визг
воинственных исчадий подземелий.

Все реже, реже факел зажигаю
чтоб прочитать письмо
с другой планеты:
мольбу бессвязную,
истеричку мечтаний,
бесстыдную тоску — похмелье святотатств.

Пора окуклиться.

СЛОГ © ЧИСЛА © СЛОГ © ЧИСЛА © СЛОГ © ЧИСЛА

Администрация Иерусалимского Культурного Центра репатриантов из СНГ в лице Виктора Фишера оказала посильное финансовое содействие выпуску первого номера СЛОГа. К сожалению, этого недостаточно, и редколлегия посчитала возможным обратиться за поддержкой к читателям.

С благодарностью прилагаем список друзей журнала, чья бескорыстная помощь способствовала его выходу в свет:

С. Шаргородский — 200 \$, А. Носик — 100 ш., Светик — 50 ш., И. Гохберг — 50 ш., Б. Девятков — 30 ш., М. Гиршович — 20 ш., А. Карив — 10 ш., Л. Герштейн — 50 ш., В. Кон — 20 ш., Свищев — 10 ш., В. Мучник — 10 ш., Р. Масиновская — 50 ш., книжный магазин "Болеславский" — 50 ш., Ш. Ленский — 10 ш., Л. Шагал — 30 ш., А. Кля — 10 ш., Сема-Самуил Чернокижничник — 50 ш., Ж. Штейман — 25 ш., "Гиммелс, агент и агентство" — 10 ш., П. Клейнер — 30 ш., С. Гинзбург — 10 ш., Лемперт — 20 ш., кроме этого, 12 человек, пожелавшие остаться неизвестными — 500 ш.



Лит СВЪТЪ НЕВСКІИ 136